

ГУБЕРНСКИЙ ДЕТЕКТИВЪ

Черная богиня жаждет новой крови...



**ТАЙНА
СТЕКЛЯННОГО
СКЛЕПА**

Юлия НЕЛИДОВА

Иван Иноземцев

Юлия Нелидова

Тайна стеклянного склепа

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Нелидова Ю.

Тайна стеклянного склепа / Ю. Нелидова — «Эксмо»,
2018 — (Иван Иноземцев)

ISBN 978-5-04-097167-1

1907 год. Бывшему адвокату Эмилю Гершину, вернувшемуся из длительного путешествия по Гималаям, предстоит разгадать загадку смерти доктора Иноземцева. Для этого ему придется столкнуться с жертвами экспериментов над искусственной жизнью, раскрыть тайну стеклянного склепа на острове Лонг-Айленд и даже принять участие в кругосветном ралли Нью-Йорк – Париж... И конечно, в деле не обходится без коварной и обольстительной авантюристки Ульяны-Элен Бюлов-Иноземцевой...

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-097167-1

© Нелидова Ю., 2018
© Эксмо, 2018

Содержание

Глава I	6
Глава II	11
Глава III	23
Глава IV	36
Глава V	44
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Юлия Нелидова

Тайна стеклянного склепа

© Нелидова Ю., 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018

* * *

Глава I

Яд для черной богини

Синий и Зеленый дружно кивнули. Последняя битва состоится.

Я поднялся. Быстрым движением окунул руку в карман и, вынув, протянул ее Элен. На ладони лежала пилюля с ядом.

Мадам Бюлов удивленно приподняла бровь. Свет единственной свечи озарил на лице неподдельное удивление, руки дрогнули – серебряная вилка со звоном стукнулась о фарфор.

– Что это, Емельян Михайлович?

Я молчал, настойчиво протягивая ладонь, слова, как назло, застряли в глотке.

– Месье Герши? – отозвался Иноземцев из темноты с другого конца стола.

Что это был за странный голос! Я никак не мог привыкнуть к этому звуку. Металлический, дребезжащий, не живой, не человеческий голос, словно кто-то говорил в пустую консервную банку, скрежетал железом по стеклу, словно это была плохая запись на фонограф Эдисона, которую нарочито растягивают и видоизменяют. По его звучанию не было понятно, кому он принадлежит – человеку ли, механизму. И даже мягкое звучание французского, на котором доктор предпочитал говорить, не спасало.

Тревога его придала мне уверенности – прикованный к стулу в своем неизменно погруженном во тьму углу длинного обеденного стола, лишенный возможности участия в общем действе, он казался теперь жалким и беспомощным. С тех пор как появился на пороге этого дома, я ни разу не видел его лица, но что-то мне подсказывало – сейчас оно искажено ужасом.

Кроме него и Элен, в столовой никого не было. Но я знал, что за нами, возможно, наблюдают незримые стражи – преданные куклы доктора, и обвел темноту комнаты взглядом в поисках оружия. Если не удастся пустить в дело яд, то один точный удар решит мой ставший бесконечным вопрос. Сегодня или никогда. Я вдруг ощутил прилив небывалого умиротворения. О, неужели наконец-то моя душа будет свободна...

– Это яд, мадам, – любезно объяснил я. Я старался быть любезным. Я не убийца, я не негодяй. Они должны были это знать. Я лишь явился исполнить свой долг.

– Что-что? – с недоверием хохотнула Элен.

– Это яд, мадам. Я должен был сразу сказать вам о цели своего визита. Я прибыл в Нью-Йорк убить вас.

– Герши! – вновь выкрикнул Иноземцев из темноты. – Что ты, черт возьми, мелешь?

– Это истинная правда, доктор.

– Это месть? Месть спустя семнадцать лет? Ты все еще держишь обиду? – продолжал дрожать от трусливого беспокойства этот металлический голос. Еще одна фраза, сказанная с надрывом, и он в очередной раз изойдет кашлем и лишится своих искусственных голосовых связок. Мне не было его жаль.

– Нет, доктор, это вовсе не обида и не месть. Но мне придется убить вашу супругу, потому как она не та, за кого себя выдает.

Элен прыснула.

– Вы вдруг вспомнили Тею-Ра? – расхохоталась она.

– Почти. Но боюсь, вы даже не Тея-Ра. Вы – Черная! Черная богиня Кали! Черная Шри-деви.

Когда я поведал чете Иноземцевых о Кали, те разом издали облегченное восклицание. Оказалось, разговаривая сам с собой, я не раз называл имя черной богини вслух, но, о удача, никто не связывал божество с именем мадам Бюлов. И Иноземцев вдруг как-то даже успокоился. Откинулся на спинку стула и сложил руки на груди.

– Вот видите, Герши, а говорили, ничего с собою не привезли из Тибета.

Меня ввергло в недоумение холодное спокойствие доктора, будто буря миновала, будто они больше не видели во мне никакой опасности. На короткое мгновение я опешил, а следом вознегодовал, как всякий маньяк, тщательно готовящий преступление, но который вместо предполагаемого триумфа просто сел в лужу.

– Я открыл ваше инкогнито, Элен Бюлов! Вам придется вернуться в небытие. Сегодня последний вечер Кали-юги, – вскричал я почти обиженно.

– Послушайте, Герши. Вы не в себе, – кротко начал доктор. Я видел, как в темноте соединились кончики его упакованных в перчатки пальцев; он вновь почувствовал свое превосходство. – Вы больны. Возможно, даже серьезно. Одержимость – одно из состояний деменции. И я могу предложить вам лечение. Я могу помочь вам выпутаться из сотворенных вами лабиринтов...

– Нет, это вы одержимы, – оборвал я довольно резко. – Иначе бы не обматывали себя бинтами, не носили маску, не прятались по темным углам, как крысы, не прятали того, что рано или поздно будет открыто. Предел существования любой тайны – вопрос времени. Так может ли врач, не обладающий ясностью рассудка, излечить того, кто потратил на поиск истины и исцеления семнадцать лет в самом сердце Тибета!

Стрела достигла цели – Иноземцев проглотил язык. И, успокоенный, я одернул полы пиджака и вернулся взглядом к глазам мадам Бюлов. Моя рука, вновь протянувшая пилюлю к ядом, дрогнула.

За столом напротив восседало черное, покрытое шерстью четырехрукое существо, в одной руке оно держало трезубец, в другой – чью-то отрубленную голову, в третьей – секиру, четвертой тянулось к моему горлу, на шее позвякивала гирлянда из черепов. На короткое мгновение мадам Бюлов сбросила свое человеческое обличье и наконец предстала во всей своей красе. Глаза горели и смеялись, на губах играла самодовольная улыбка победителя – уже знакомая мне и триллионы раз виденная.

Разумеется, предложить самой Кали просто выпить яд, было бессмысленно.

– Хорошо, Герши, – сказала она. – Давайте играть?

И я вновь увидел Элен Бюлов прежней. Видение исчезло.

– Ульяна, нет, никаких игр с пациентами, – возразил Иноземцев. – Послушайте, Герши, в самом деле. Мы живем в двадцатом веке, а не во времена Рамааны и Махабхараты. Уже давно перестали решать споры ядом.

– Доктор, вы слепы! Элен – не человек. Она сгусток энергии, которой собралось слишком много, достаточно, чтобы приобрести человеческое обличье. Энергии разрушения, разложения. Она есть эрозия! И если тело ее столь же бrenно, то дух – всемогущ. Оглянитесь на свою жизнь и поймите наконец: вы, точно загипнотизированный, следуете за ней прислужником, подручным, исполнителем ее губительных идей. Она сеет зло вашими руками. Вы вечный раб темных сил.

– Ванечка, ты рискуешь поверить господину бывшему адвокату. – Элен прыснула. – Он толкует весьма убедительно.

Иноземцев молчал. Но спустя минуту он изрек, совсем тихо, почти с мольбой:

– Герши, давайте потолкуем об этом наедине?

Я опустил руку с ядом, отодвинув стул, сделал шаг назад. Сегодня или никогда. И обвел глазами столовую, ища что потяжелее. Я стал всерьез опасаться, что если Кали примет свой черный облик еще раз, то в нем и останется. И тогда мне ее не одолеть – разрушит полмира.

– А я предлагаю потолковать об этом сейчас, – прервала Элен мои лихорадочные соображения. – Хотите пари, Герши?

– Пари с черной богиней Кали? – фыркнул я. Я, конечно же, вложил в эту фразу все свои негодование, ярость, презрение и вызов. Но вышло довольно жалко. Будто Герши был обезьянкой, у которой пытались выманить похищенные спички.

– Пари с черной богиней Кали, – ответила она с наигранным утверждением. Так обычно разговаривают школьные учительницы.

– Ульяна, это кощунство – обманывать больных, – сказал доктор по-русски.

Я бросил на него ненавидящий взгляд.

– Я вовсе не болен, – ответил я тоже по-русски.

– Ванечка, ты не прав, ты, как всегда, свысока взираешь на тех, кто мыслит не вполне обычно. А вдруг и вправду я и есть эта самая богиня?! Как вы, Емельян Михайлович, ее называли? Ах да! Кали, да, помню. Ее еще с черной кожей изображают и с четырьмя руками. Я, Ванечка, всегда в себе ощущала силы, во много раз превосходящие человеческие. Много думала об этом. Были времена, когда на меня что-то находило... необычайное чувство, будто готова взмыть к небесам. Вы знаете, как я страдаю! Страдаю от того, что до сей минуты не с кем было поговорить о моем божественном происхождении. Вот так всегда! Никто и не ценит моего удивительного дара. Да-да, совершенно никто...

– Ульяна, не нужно, – прошипел доктор.

– Позволь самой решать, – шикнула она в ответ. – Итак, месье, – она вновь заулыбалась мне, – сядьте, пожалуйста. Будет весьма приятно побеседовать о том, что давно не дает мне покоя. Тем более с вами, человеком, который собаку съел в вопросах божественного! Шутка ли – семнадцать лет в Гималаях.

Я сел, продолжая гипнотизировать Элен взглядом охотника, готового в любую секунду сорваться с места и нанести удар. Я даже выработал план нападения. Перевернуть стол и напасть сверху. Но я хотел все же, чтобы она приняла яд. Яд был гуманным решением.

– Не всегда боги отправляют братьев и сестер своих с небес на землю помнящими о своей силе. Приходится восстанавливать свою память с нуля. Верно? – продолжала она, с трудом сдерживая улыбку. Она хотела казаться серьезной.

– Верно, – нехотя отозвался я.

Доктор недовольно хмыкнул.

– По крупице приходится собирать свое умение и силу. Так?

– Так, – согласился я.

– Должна признать, я все еще очень неловка в магии, чтобы сопротивляться вам. Сказать проще, я так же беззащитна перед вами, как жертва перед убийцей.

Я проглотил намек. Элен Бюлов пыталась надавить на мои жалость, честность, благоумие.

– Ваших сил достанет, чтобы творить беззакония, – буркнул я; невольно вновь обида скользнула в моем тоне. – Их доставало и два десятка лет назад. Страшно подумать, на что вы способны сегодня.

– Бросьте, Эмиль. Да, раньше было дело, я любила поразвлечься, но ныне мною движет лишь одно желание – покой. Я стала совсем старушкой, Герши. Сфера моих интересов – теплый плед и увлекательная книга на ночь.

– Все, что я вижу вокруг, – хорошее основание не верить вам. Вы создаете свою империю, а доктор, точно бурый волк из Лукоморья, служит вам верою и правдою, ни на секунду не задумываясь, какую роль играет. Вы превратили честного, благородного, с возвышенной душой человека в паука.

– О, да, в этом вы правы. В паука, – непринужденно рассмеялась мадам Бюлов. И развернувшись вполоборота крикнула: – Несите ужин!

Мне показалось, что под невинной фразой «несите ужин» пряталась команда «убить его». И тотчас вскочил, опрокинув стул. Вскочил и доктор, но остался в своем темном углу. А угла своего – я был в этом уверен – он ни за что не покинет.

– Джентльмены, – весело воскликнула Элен. – Да успокойтесь вы! Сядьте! Будет! Сейчас мы уладим это странное недоразумение, пожмем друг другу руки и примемся за прекрасное овощное рагу, приготовленное по старинному индейскому рецепту.

Я послушно поднял стул и вновь уселся. Доктор тоже сел.

– Итак, что мы имеем, – продолжила Элен, ей удавалось сохранять легкость и задор. – Меня только что причислили к лику богов. Это – во-первых. Герши, я бесконечно польщена, правда! И не отказываюсь от этого почетного статуса. Но вот беда, мне придется внести плату за свое членство в клубе саморожденных. И плата – моя жизнь. Это – во-вторых. Скажите, Эмиль, правильно ли я вас поняла?

– Правильно. Вы умрете сегодня.

– Имею ли я право на последнее желание?

Я стал размышлять. В игры с богами играть бесполезно; такая игра не сулит побед, какую лучинку ни вытяни, всякая будет короткой. Но я не имел права отказывать в последнем желании. И раз уж я рожден победить черную богиню, то какие бы преграды она ни учиняла, я одержу верх.

– Имеете.

– Тогда я хочу пари.

И снова обернулась к двери, щелкнув пальцами.

– Будьте любезны сегодняшней выпуск «Нью-Йорк Таймс».

– Я возражаю! – раздался отчаянный вопль Иноземцева из темноты. – Этому не бывать!

– Придется поступиться на этот раз, – с мягкой настойчивостью отозвалась Элен. – Не все же по-твоему быть должно, дорогой мой супруг.

Вошла горничная, неся на подносе газету.

– Подайте ее нашему дорогому гостю, – велела хозяйка.

Горничная склонилась ко мне, опустив поднос под руки. Я неохотно взял газету.

– Смотрите на первую полосу.

Я приблизился к пламени свечи и прочел заголовок об учреждении межконтинентальных гонимых. Я не мог понять, при чем здесь это. И поднял на Элен недоуменный взгляд.

– Я предлагаю вам подать заявку. Придете первым – и я выпью вашу пилюлю.

Воцарилось молчание. Я продолжал глядеть на нее, будто не расслышав предложения. Иноземцев, верно, решил отдать бразды правления своей ловкой в подобных делах супруге и тоже молчал. Либо недоумение лишило его дара речи.

– А если я откажусь? – наивно спросил я.

– Тогда пилюля останется при вас, а богиня Кали – в теле Элен Бюлов.

Вот так ловко в очередной раз она обвела меня вокруг пальца. Разделала под орех.

– Что ж, – сказал я вслух. – Принимаю пари, мадам.

А был ли у меня иной выбор?

– Герши, – отозвался доктор. – Одумайтесь! На чем вы собираетесь ехать? Что за чушь несете! Оставайтесь здесь, мы сможем вместе разобраться с вашей болезнью.

– Брось, Ванечка! Самое лучше лекарство – отправиться в кругосветное путешествие. Эмиль будет здоров уже на третий день пути. Может, и вам стоит, дорогой доктор, присоединиться к пари? Приз тот же! Ведь если Эмиль придет первым, мне ничего не останется, кроме как умереть. Вы не хотите посостязаться за честь и жизнь прекрасной дамы?

– Господь всемогущий, я надеялся на ваше благоразумие! А вы опять все превращаете в фарс, – начинал тревожиться Иноземцев, оттого его речь стала сбивчивой и несвязной, голос задрожал звоном ломающегося металла. – Что вы... что вы вновь задумали? Отчего вам пона-

добилось это ралли вдруг? Я подозревал! Подозревал! Вы пытаетесь... Это несправедливо! Нечестно...

– Несправедливо не получать того, чего больше всего хочется, – вкрадчиво заметила Элен. – Разве не было бы здорово повторить подвиг мистера Филеаса Фогга, а?

– Все ясно! Это заговор! Заговор против меня...

И вновь его речь оборвалась кашлем. У доктора был невысокий предел его искусственных голосовых связок. Он схватился за салфетку и долго не мог остановить приступ. Наконец он замолк, его плечи еще какое-то время подрагивали, ибо малейшее першение в горле доставляло мучительные страдания. Но вскоре Иноземцев и вовсе замер. Одной рукой опираясь о стол, другой прижимал салфетку ко рту. Голова беспомощно свисала на грудь, как у поломанной куклы...

Воцарилась тишина. А я и понятия не имел, что доктор лишь выжидает.

Большой черной тенью он вдруг метнулся прямо на стол – вскочил одним-единственным легким и сильным движением и бросился по длинной столешнице прямо на нас с Элен, над головой держа свою трость. При приближении он смахнул на пол свечу, что есть мочи пнув по ней. Столовая погрузилась в кромешную тьму.

Сквозь густоту ночи я увидел – нет, скорее почувствовал, – как Иван Несторович замахнулся для удара, но я успел увернуться, перехватить трость из его рук, вывернуть ее. С большой неохотой он разжал пальцы и, потеряв преимущество, отшатнулся. Победа далась мне не без натуги – Иноземцев вдруг проявил невиданную прежде силу и прыть.

Но когда угрожающее оружие оказалось в моих руках, когда противник отпрянул, обезвреженный, что-то чрезвычайно тяжелое, будто каменная скрижаль, опустилось на затылок. Я присел и сделал пол-оборота, успев разглядеть другую черную тень позади себя, и эта тень безжалостно меня поглотила.

– Эмиль! – кричал мне вслед Синий. – Беспредельны Владения Саморожденных Чхая, это Поток Жизни.

– Все есть Поток Жизни, Эмиль. Возроди его! – подхватил Зеленый.

– Внешняя оболочка стала Внутренней. Старое Крыло стало Тенью.

– Солнце согрело его, Луна охладила, придало ему форму.

– Ни огонь, ни вода не смогли разрушить его.

– Ибо Он есть Дух, он везде.

– Здесь или где-либо еще.

– Где-либо еще или здесь, – согласился Зеленый. – Он ничто и все в одно и то же время.

Синий и Зеленый всегда изъяснялись пространно, аллегорически, библейским манером. Но стоит мне хоть что сделать не так, душу изведут. Но черная богиня Кали одержала победу. А я, растоптанный ее могуществом, понесся в самое сердце нараки – ада, уготовленного тем, кто вздумал уподобиться богам.

Глава II

Доб-доб Емеля

Меня зовут Эмиль Герши, а вернее, Емельян Михайлович Гершин – я последний из рода русских эмигрантов, полвека назад накрепко обосновавшегося в Париже. Возможно, моя история уберезет тех, кто находится в вечном поиске истины, убедит в тщете ее и сохранит жизнь. «Нет правды на земле. Но правды нет и – выше», – сказал поэт, и слова сии оказались главной сентенцией, определяющей все сущее на земле.

Семнадцать лет назад очарованный прекрасной прорицательницей с небес, посулившей мне несметные сокровища Вселенной, я потерял голову. У нее было много имен и лиц. Зои Габриелли, Элен Бюлов, аватара богини Солнца – Тея-Ра. Гоняясь за ней по всей Европе, я успел лишиться всего: службы в конторе «Гру и Маньян», состояния – произошел крах Панамской компании и отца – он исполнил свое обещание: акции прогорели, и он застрелился. А я, вместо того чтобы отчаяться, счел себя начинающим прозревать. Прозревать, благодаря встрече с таинственной колдуньей с небес.

– Мир, – говорила она, – не такой на самом деле, каким мы привыкли воспринимать его посредством органов чувств, ограниченных бранным телом. Он стократ, нет, в бесконечное количество раз шире, более того – он бескраен. Что мы можем увидеть через две узенькие щелочки, именуемые глазами? Истинное зрение обзирает все Мироздание. Разрушь брannую оболочку, и ты станешь повелевать всем! И ты поймешь, что Вселенная живая. Живая. И такая же часть тебя, как ты часть ее. Вы, мы, она – одно необозримое, необъятное, вечное, вневременное единство.

Оказалось, все это время я был слеп, пребывал в состоянии глубокого, духовного сна. Мир был черно-белым фотографическим снимком, а меж тем за оттенками серой палитры скрывались яркость и жизнь красок. Заурядная, уставная форма человеческой жизни стала казаться мне жалким существованием больного, которого медленно травил инъециями с ядом. Инъециями со страхом, инъециями печали, инъециями сожалений, возбуждающими страсти, порождающими сомнения, внушающими мысли о самолюбии. Я запретил себе испытывать горечь, вырвал с корнем все желания, объявил страхам ультиматум. Сбросил привязанность к жизни, как змея сбрасывает с себя изношенную кожу. Я объявил себя монахом, без оглядки покидающим оба берега. Я больше не боялся ни неба, ни дождя, я встал на путь пустытника, который бредет одиноко подобно носорогу.

Бесплотный дух не стремится ни вперед, ни остается позади, он свободен от мечтаний, он ясно осознает призрачность всего в этом мире.

В Париже я тотчас нашел общество теософов, которые благословили меня на путь в Гималаи, дали несколько переведенных Вигго Фаусбёллем глав Суттанипаты – древнего буддийского текста и адрес одного из влиятельных мэтров общества Вечного знания в придачу. Господин Р. в Индии жил давно и мог бы меня приютить, прежде чем я решусь постучаться в храм таши-ламы, у которого обучалась Зои. Ныне у меня одна цель: вспомнить свои прошлые воплощения, увидеть мир цветным!

Не раздумывая ни секунды, я отдал последние деньги за билет на пакетбот до Бомбея. Следом с группой паломников прошел долгий и утомительный путь в горы Страны Вечных Снегов. Я был столь во власти желания поскорее добраться до Истока, что не стал останавливаться у теософов. И, невзирая на тяжелые приступы горной болезни и истерзанные камнями дорог стопы, направил их прямо к святому месту.

Много дней минуло, прежде чем я увидел девственной белизны стены монастыря, словно выросшего из высокой, покрытой зеленью горной вершины. Монастырь, почти дворец, похо-

жий на гигантскую китайскую пагоду с ярко-алой кровлей, стоял неподалеку от Лхасы и звался Ташилунг, а обитал там Великий адепт, Учитель – Лама, носивший почетное звание Ринпоче.

А европейцы звали просто – таши-лама, бесцеремонно путая название монастыря и титул настоятеля. Как оказалось, Зои тоже.

Узнав о чудовищной ошибке, я огорчился – адепт и медиум Зои не могла допустить такой оплошности, не могла позорно не знать, как величали Учителя, с которым провела много лет под одной кровлей. Но когда мой разум, жаждущий духовных свершений, упирался в несовершенство мироздания, он предпочитал не обращать на сии несовершенства внимания, милостиво объясняя все непонятое слепотой, неведением и тупоумием бренной оболочки.

Однако меня не пустили к Учителю. Позволили туристам, среди коих был я, много русских и англичан, индусских и китайских паломников, осмотреть двор монастыря изнутри, накормили обедом и выпроводили к закатному часу.

О, каким был монастырь изнутри красочным! Цветные флаги, цветные фрески, цветные божества – синие, зеленые, желтые, красные! Вот почему меня так манило многоцветье! Переступив порог обители, я уже никогда бы не смог вернуться к черно-белой жизни простого смертного!

Туристы ушли, а я остался ждать. Я не тронулся с места. Я собирался во что бы то ни стало попасть внутрь снова, в царство жизни, и облачиться в буро-шафрановые одежды монаха, служить Вечности.

И провел самую страшную ночь за всю свою жизнь. Горы Тибета таили в себе много опасностей для неподготовленного путешественника. Я претерпел все муки ада, дрожал от страха, от холода и обиды, вздрагивал от любого шелеста кустов, меня искушали какие-то насекомые. Наступило долгожданное утро, и я снова постучал в ворота. Вежливый доб-доб сказал на ломаном английском, что с нами уже распрощались, и захлопнул калитку. Монахи и Ринпоче довольно сносно изъяснялись по-английски ввиду близости британской экспансии.

Я уселся под воротами. Меня ничто не ждало в моей прежней жизни. Единственным смыслом оставалось – попасть внутрь. Чего бы это ни стоило. Ценой смерти от укусов гималайских насекомых, всюду шуршащих в кустах, ценой еще одной ночи наедине со змеями и дикими хищниками, водившимися в здешних лесах.

Одной ночи – последней ночи. Я лелеял надежду, что вот взойдет солнце, Вселенная смилуется, а доб-доб приведет меня к Ринпоче.

Кто знал, что придется провести не одну ночь, о наивное дитя, и не один день, и даже не неделю. Я дважды обошел постройки монастыря, обдумывая как бы попасть внутрь. Я не хотел врываться силой, проявлять бесцеремонность. Гнев Ринпоче страшил меня больше, чем ужас перед очередным ночлегом в отколотом выступе стены, палка доб-доба пугала больше змеиного шипения.

Я боялся этих крепких парней с бритыми затылками и коническими шапочками больше бродячих шакалов или белоснежных ирбисов – довелось раз стать свидетелем схватки карульного со стаей диких собак.

Облаченные в объемные балахоны с аккуратными складками, доб-добы обходили владения монастыря и часто ворчали, завидев мою согбенную под холодным ветром фигуру. Я вел себя как можно тише и вежливей. При их появлении мысль о том, что я – европеец, стану избранным, стану первым, кто останется жить в стенах Ташилунга, исчезала куда-то в глубины подсознания. Я не надеялся, что, сжалившись, они поведают о моем присутствии настоятелю. Я молил бога избавить меня от участи той стайки диких собак, изничтоженных за четверть минуты одной лишь палкой...

Монастырь был своего рода маленьким государством, которое, конечно же, нуждалось в охране.

Они проходили мимо, исчезали за поворотом стены. И я обретал былую стойкость – не уйду, пусть даже придется оставаться до самой смерти по ту сторону величественных ступенчатых стен. Ничего, успокаивал сам себя я, не свершится в этой жизни, свершится в следующей.

Супротив холодным ветрам, влажному, горному климату, супротив снегам, морозам, я провел у ворот храма всю весну, лето, осень. С наступлением зимы великий Ринпоче велел привести настойчивого иностранца и спросил, что тому надобно.

С детства, слава богу, я немного говорю по-английски, и тотчас поспешил ответить словами из того текста, что жаловали теософы. Бумага, на коей он был выведен, уже так истрепалась, что едва можно было что-либо прочесть. Она согревала меня холодными ночами – часть рукописи пришлось пустить на запал для костров. Но я помнил каждое слово, каждый звук.

– Я хочу пройти через все строгости учений, обрести самоподчинение и вступить на путь, ведущий к совершенству, – сказал я, молитвенно протягивая руки к Ринпоче. – Я стремлюсь к верному знанию, чтобы не быть кем бы то ни было водимым. Я брел сюда одиноко, подобно носорогу.

Ринпоче был удивлен моими словами, ведь я цитировал одну из сутр канонического трактата всех буддистов. Не каждый монах знал этот древний текст.

Заметив, что Ринпоче не гонит меня, я не сдержался и на радостях поведал обитателям монастыря о явившемся ко мне божеству по имени Тея-Ра. Поведал, как та открыла мне глаза, показала истинную картину божественной сущности душ, открыла тайну величайшего будущего человечества, и о важности того, что знания эти должны получить распространение. О мадам Блаватской рассказал, о теософском обществе в Европе, о том, что стремлюсь узнать, чьим аватарой я явился на землю, и что познать хочу видимые и невидимые миры, описанные в Пуранах. Ринпоче внимательно выслушал меня, а потом отвел в храм, к золотой статуе, изображающей тонкую женскую фигуру, восседавшую в позе лотоса, одна ее рука раскрытой ладонью лежала на колене, другая была приподнята, в гибких пальцах – цветок лотоса.

– Я не знаю никакой Блаватской, никакой Зои. Но вот Тара, – сказал он. – Белая Тара – Всепронизывающая высшая мудрость.

У меня сердце стало – лик божества был поразительно схож с лицом Зои Габриелли. Тот же изгиб бровей, та же диадема, и пряди лежали на лбу двумя полумесяцами. И даже руки она держала так, как часто складывала мадемуазель Зои. Это было столь поразительно, что я грохнулся без чувств.

И меня оставили в обители. Я полагал, что вскоре выдадут желанные буро-шафрановые одежды монаха, обучать станут древним текстам и языкам, пениям мантр и умению крутить барабаны, которые за лье издавали тонкий чарующий звук. Через неделю-другую откроется третье видение и великие адепты заговорят со мной! Я был на вершине счастья! Невероятная, почти невозможная редкость – ни один европеец на протяжении веков не оставался за стенами Ташилунга дольше чем на несколько часов...

Я столь долго шел к своей цели, что вполне заслуживаю вознаграждения, и вот она – моя цель – выросла на горизонте, словно вершина Кайласа. Село солнце, встало солнце, и я встретил рассвет послушником!

После слух о моем довольно странном поступке докатился и до дядюшки, и, как ни удивительно, дядя Николая тем фактом был неизмеримо горд. В своем последнем письме ко мне он писал, что не устает повторять: «Мой племянник – мистик и величайший из теософов! Одному ему оставлю свое состояние». Тому поспособствовала отчаянная мода на всяческие оккультные науки, мистицизм, спиритуализм и прочие восточные сказки. И я не был одинок в своем заблуждении, но оказался одним из самых упрямых и неотступных глупцов.

Монахи отнеслись с большим уважением к моим речам. Но буро-шафрановые одежды выдать не спешили.

Утром они оглядели меня с головы до ног и спросили, что я умею делать.

Я поспешил заверить, что являюсь адвокатом и хорошо знаю французскую конституцию. Но тибетским монахам не нужны были ни французская конституция, ни декларации прав человека, ни какие другие законодательства. Со мной не имелось ничего ценного, что я мог дать взамен на келью и обучение. А устав монастыря требовал за обучение платы. Бесплатно третье зрение никто открывать, как оказалось, не собирался.

Я, конечно же, тотчас заявил, что готов заплатить жизнью.

Монахи еще раз оглядели меня, принесли бамбуковую палку – толстую, с кулак, крепкую – и велели сломать. Я был до того решительно настроен, до того хотел остаться в Ташилунге, что сотворил невозможное для себя – сломал ее. Будучи хоть и полнотелым, но от рождения наделенным здоровьем довольно слабым, тем не менее бамбук переломал. И не только бамбук, оба своих мизинца в придачу. И боли не почувствовал ни сразу, ни потом – до того мое сознание было во власти экстаза.

Возможно, мне сослужила службу моя тучность – роста я был внушительного, и невысокие тибетцы узрели во мне сокрытую физическую мощь. Существовало два варианта остаться в стенах высокогорной тибетской общины. Либо слугой – гейгогом, который бы платил за уроки черной работой, либо – доб-добом. Тибетцы сочли меня вполне годным для второго.

Сидя с замиранием сердца в выступе скалы или стены, где прятался от холода и непогоды, я никогда себе и представить не мог, даже в самых смелых фантазиях, что вступлю в ряды тех, от звука шагов которых немел от страха.

С большим трудом я привыкал к нелегкой жизни тибетского монаха, к ранним подъемам, к физическому труду и изнурительным упражнениям и – самое необъяснимое – бесконечным дракам.

Зои не упоминала о склонности тибетцев к подобному времяпрепровождению. И слова не сказала и о чрезвычайно жестоком их нраве. Пела сладкие песни о ясноликих миротворцах, проводящих в созерцании дни и ночи напролет. И я совершенно естественно полагал, что владение телом будет осуществляться лишь силой разума, бесконечные созерцательные практики составят мое существование. Но никаких ясноликих миротворцев я не встретил. Вместо молитв и священных песнопений, должных открыть мое ясновидение и яснослышание, я столкнулся с необходимостью овладеть физической, брэнной оболочкой простым земным способом – трудом и насилием.

Я знал, что преображение будет болезненным, но не ведал, до каких степеней. Доб-добы, казалось, были рождены из стали и не знают иного оружия, кроме собственных рук и ног, иногда бамбуковых палок. Ратному делу они обучались без теории, сразу переходя к практике. Меня бесцеремонно, не испросив разрешения, впахивали на середину залы для упражнений, похожей скорее на арену Колизея, – остальные монахи рассаживались кругом, дабы внимательно наблюдать за очередным поединком, и противник обрушивал на меня целый фейерверк ударов. Никто не показал мне прежде, как от них отмахиваться, никто не объяснил правил. Но отлеживаясь в углу и оттирая с лица кровь переломанными пальцами, я был вынужден во все глаза глядеть, как делают это другие.

Но какое все же диво – тибетские доб-добы! Как это им удавалось двигаться мягко и слаженно, изгибаться, будто их тела не имели скелета, кулаки опускать разительно, словно тяжелую палицу? Они походили на животных, на больших гибких пантер, на юрких гадюк, на ловких обезьян. Я невольно засматривался, замирал с восхищенной миной. Болью пульсировали переломанные кости, растянутые связки, порванные мышцы, но я смотрел не отрываясь, изучал все их движения и жесты – то как они сжимали палку, как присаживались, как ставили стопы и подгибали колени.

Я не знаю, откуда явилось ко мне это знание, но раз в каждом существе Дух заключает в себе целую вселенную, то, стало быть, каждое существо может быть кем угодно, если расширит

свое сознание за пределы тела, в котором заключен. Я представлял себя огромной хищной кошкой, и я знал, что мои прыжки и движения в точности повторяют движения тигра или ирбиса. Я – неуклюжий, долговязый, ибо был на голову выше самого высокого тибетца, видел себя ирбисом, и братья мои, тибетцы, видели меня ирбисом.

Но прежде чем я потерял в весе, стал тощим, как антилопа, преодолел свою природную неповоротливость, научился сносно владеть руками и ногами, использовать их, чтобы не пропустить хотя бы один из десятка ударов, я переломал, наверное, весь набор своих костей, а пару раз едва не был разделан как ягненок. Дважды меня принимали за мертвого и уже тащили к алтарю, когда я открывал глаза и принимался молить о пощаде.

Дело в том, что погибшего во время состязаний необходимо было разрезать на мельчайшие кусочки, того требовал какой-то тайный тантрический ритуал – сути его я так и не постиг. Возможно, необходимость подобных зверств состояла в том, чтобы показать братьям, как немилосерден круг сансары или же до чего ничтожна брeнная оболочка. Что делалось с этими мельчайшими кусочками, я не знал, ибо когда состязание заканчивалось гибелью товарища по несчастью и его измельчали на кровавые атомы, я позорно забивался в угол и зажимал руками глаза и уши, а порой просто терял сознание.

Обычаи у тибетцев были совершенно непостижимыми и крайне для меня неожиданными. Пока не привык и не принял со смирением устав общины, я недоумевал, долго недоумевал – отчего? отчего тибетские монахи такие кровожадные, ожесточенные и противоречивые? Где же их возвышенность, умиротворение, о которых твердится в писаниях? Бездушно стравливают друг друга на арене, убитого разделяют, а убившего швыряют в наказание в яму на долгие несколько дней без воды и пищи. Воспевают силу, но выказавшего ее обрекают на кару страшнее смерти, заявляя, что убивать – страшнейший грех и позор для монаха. Как не убить, коли тогда убьют тебя! А чего стоят их оккультные ритуалы, во время которых заставляют биться жертву в таких несусветных страданиях, что смерть Иисуса на кресте кажется милосерднейшим жестом римлян.

Все существо мое восставало против отчаянного человеконенавистничества тибетцев, но упорно продолжало верить, что с ними я на пути к просветлению. Ведь Зои прожила здесь много лет! Просто пока я совершенно не разбираюсь в мироустройстве и законах космической мыслиосновы. Минует время, и понимание придет. Возможно, именно через полное бездушие обретают душу, черствость и кровожадность помогают сделать сердце мягким, жестокость разжигает в сердце огонь истинного милосердия.

Отрицанием, уничтожением Духа они шли дорогой просветления.

Уничтожить Дух, чтобы тот возродился вновь. И я уничтожу! Себя!

Особенно сильной моя вера становилась, когда я лежал в емкости с тягучей глиной, которая заменяла тибетцам гипсовые повязки и за лье отдавала испражнениями. Благо переломы быстро срастались. То ли воздух особенный, то ли святость места влияла на столь скорую регенерацию, то ли врачевать монахи умели и взаправду мастерски. И уж столько шишек набил себе, что дошло дело до кошмарных галлюцинаций.

Лежу себе в квадратной плоскокровной зале, все тело до подбородка запечатано в лечебной вязкой жиже, а перед взором вдруг восстает сама Тара в образе Элен Бюлов. Да не простая. А отчего-то черная лицом и злобно хохочущая. Я не заметил, как, лежа, рассматривал фрески. Среди Синих, Зеленых, Красных богов, с которыми я уже успел свести тесное знакомство по текстам и изображениям-танкам, я увидел вдруг Черную Богиню. Она столь прочно врезалась в мое сознание, что стала оживать, смешалась с моим собственным воображением и породила чудище.

По уставу доб-добам не было положено являться на уроки священных писаний. Но для меня Ринпоче сделал исключение. Возможно, моя убежденность, что я встречался с самой

богиней Солнца, повлияла на его решение, но спустя какое-то время я вошел в класс книжников – так называли тех монахов, которые постигали академические науки.

Так в свободное от караула время я стал учить тибетский язык, называемый пхёкэ – что-то между китайским путунхуа и хинди, звучащий как напевное бормотание, и пали – единственный язык, у которого такое разнообразие разных алфавитов, что освоить все нельзя без риска заработать мозговую горячку. Но я заучивал целые тексты наизусть. И это были минуты несказанного облегчения; как мог, я продлевал их. Мое прилежание полностью зависело от стремления сократить часы пребывания в зале для боевых упражнений. Пхёке был хоть и труден, особенно его письменность, но для адвоката, обладающего натренированной памятью, уж попроще, чем ратное дело.

Запоминал я хорошо, понимал плохо. И чем больше мучил пхёкэ и пали, тем больше меня мучали видения – перекошенное гримасой ярости черное лицо. Даже звон в ушах появился, который вскоре превратился в смех. Порой мне казалось, что я слышу его, даже когда вслух произношу какие-либо слова, смех звучал вместо произносимых мною колких согласных и гласных, как-то очень тесно вплетаясь в окружающие звуки.

Я долго терпел эту странную слуховую галлюцинацию, полагал, что тому виной барабаны, звучащие с утра до ночи, но барабаны звучали лишь по отведенным дням и часам. Потом не выдержал и спросил Ринпоче, почему стал видеть Тару чаще прежнего и почему она является с черным лицом. Ринпоче отшатнулся от меня. Он ведь не знал о старой фреске, зато знал о черной богине, изображенной на ней.

– Шридеви! – проронил великий мудрец. – Лхамо... Мы прячем ее изображение не зря. Только лишь в келье, где монахи поправляют свое здоровье, есть ее лик. Она является покровительницей Смерти.

И поведал сказание о том, кто такая эта Шридеви. Тара слыла богиней белой, а Шридеви – черной. В индуистских текстах, облюбованных теософами, Шридеви – это Кали. Обе – одна и та же ипостась верховного божества, считалась она покровительницей всего самого прекрасного и расчудесного во Вселенной, олицетворением жизни. Но как испокон веков повелось, все чудесное и прекрасное люди начинают использовать во вред. Тогда богиня сия чернеет лицом и превращается в самого настоящего демона. В разных человеческих воплощениях, годами, веками, сотня за сотней лет, а следом и тысяча за тысячей, она принимает облик зла и разрушения, учиняет бедствия, сталкивает людей в расприх и войнах, насылает голод, нужду, болезни. Но вовсе не для того, чтобы низвергнуть землю в пучину ада, не ради уничтожения жизни, напротив – целью ее служит святое намерение воскресить в сердцах людей светлые истоки, объединить их в борьбе против невежества. Время, когда богиня Тара принимает черноликий облик Кали, несущий смерть и горе, называется эпохой Кали-юги – эпохой черной богини.

Тут-то мне и открылось, зачем Зои пряталась под маской мадемуазель Бюлов, а Тей-Ра – под маской Зои. С тех пор ожившая фреска обрела сакральный смысл, ведь я так этого ждал – когда со мной заговорят адепты. Вот оно! Свершилось! Третий глаз стал разлеплять единственное веко.

Но ни длительные медитации, ни практики безмолвия, ни посты, ни дыхательные упражнения, ни даже состязания не могли избавить меня от кошмаров, в которых никак не мог разобраться и уразуметь их смысл – какие сами явились, какие я вызвал усилием воли, безмерной жадной что-либо увидеть и услышать. Моя внутренняя работа походила на потуги перегретого парового двигателя. Теперь везде и всюду, во всех изображениях на фресках, на лицах монахов и лам, в сплетениях ветвей ив, я видел одно смеющееся лицо Элен и слышал торжествующий ее смех.

Хоровод разноцветных божеств с синей, зеленой, желтой и красной кожей, разноцветье келий и зал – все меркло. Все стало одноцветным – черным.

Я начинал по-настоящему терять рассудок, или, точнее выразиться, я – здравомыслящий человек – всеми правдами и неправдами заставлял себя сходить с ума, втемяшив в голову невесть что!

Но ведь невесть что – было сутью мироздания, тайнами беспредельности, энигмой жизни, которую я во что бы то ни стало должен разгадать посредством непостижимых для простого смертного способностей, сверхвозможностей, сверхчувств.

Ни того, ни другого у меня пока не было, а меж тем прошло достаточно времени – лет шесть или даже восемь. Чего я достиг, если вместо того, чтобы развить в себе сверхвозможности, довел себя до навязчивых галлюцинаций? Какой я, к черту, адепт.

Тибетские ухищрения не приносили никакого толку, я начинал не на шутку тревожиться, что в голове моей случилась страшная каша, которую без помощи врачей не разгрести.

И невольно опускались руки. Я не знал, чему и во что верить. Я подумывал покинуть святое место, которое не дало мне ровным счетом ничего, кроме головной боли, и вернуться к цивилизации.

Некий кисель в моей голове из прочитанных индуистских и тибетских книг, речей теософов, изречений монахов и проповедей Ринпоче, которого никогда до конца понять не мог, грозил взорваться, как перегревшийся парогенератор. Я честно слушал своего учителя и свято верил, что все звуки, влетевшие в уши из священных уст почтенного старика, словно зерна, упадут на почву, со временем прорастут дивными ростками истины. Ты только сиди и слушай, исполняй, что велют. Крутить барабаны – пожалуйста, без остановки, сутками, носить тяжелые кадки родниковой холодной воды в гору – с удовольствием, стоять часами под снегопадом, молотить друг друга кулаками – всегда рад! Ведь только так, только со временем, только в вечном бдении можно получить чудесное просветление. Но дивные ростки никак не желали прорасти.

Я устал, ужасно устал, монастырь больше не представлял для меня никакого интереса. Будучи лишь одной из его деталей, одним из винтиков его большого механизма, я ощущал себя точно так же, как в конторе «Гру и Маньян». Там я был адвокатом, а здесь – караульным. И мой прозрачный, как воды высокогорного озера, разум стал отражать всю никчемность моего пребывания в собственном теле. Я хотел стать иным, уплыл за океан, забрался на одну из самых высоких точек земли, а получилось, что сменил шило на мыло и остался таким же серым служащим.

Просветления не наступало, я вспоминал теософов, полагая, что недослушал их в порыве сыскать короткий путь к тайнам бытия, поспешил облачиться в буро-шафрановые одежды монаха, возомнив, что именно в них и сокрыт весь смысл мироздания.

В конце концов я попросил разрешения покинуть Ташилунг ненадолго, чтобы хотя бы переосмыслить пережитое.

Ринпоче не перечил просьбам иностранного послушника. По правде сказать, он не знал, как ко мне отнестись: с почтением ли, как к белому слону – инкарнации будды, за то, что великая Тара избрала меня для бесед, с боязнью ли, что на монастырь снизойдут беды и сии беды принес с собой этот странный недофранцуз-недорусский, недодоб-доб. Поэтому тибетский настоятель только обрадовался и сам проводил меня за ворота. Я был никем и ничего не постиг.

Но надо было выбираться из созданного мной лабиринта. И я попытался быть разумным.

Монахи, всего лишь проводники, говорил я себе, их наука может быть неточной. Тем более, разве дело – так молотить друг друга, безжалостно разделять погибших братьев, как скот? Послушай сердце, что оно шепчет тебе сквозь перебитые ребра, говорил я себе. Сознание твое, душа – чистейший передатчик истины, ты знаешь это, ты уверен в этом, это неопровержимая истина из истин, которую не смогли задавить никакие невзгоды и горестные помыслы. Открой свой разум бесконечной вселенной, узри, услышь голоса великих духов вселенной, как

это делала Зои, как это делает сам Ринпоче. Тело твое уже близко к совершенному – оно не чувствует ни холода, ни боли, может сутками обходиться без сна, без пропитания и уже давно перестало быть помехой этой чудесной связи.

Далеко я не уехал, жил в Наггаре, где обосновалось русское Теософское Общество. Скупал мистическую литературу эзотерического толка, поглощал ее. Голос Безмолвия был моей Библией. Бывал на сборищах, которые устраивал некий господин Р. из России, слушал, размышлял. Изучал аллегории Пуран – древнеиндийские сказания о сотворении Вселенной и основы космологии, убаюкивающие притчи Сутта-Нипатты.

Теософское Общество было подобно храму сирен и поначалу сильно захватило мой разум. И я долго удивлялся, почему я не остался сразу у них, а бросился в пасть дракону, к бездушным тибетцам, истерзавшим меня, едва не погубившим. Но я ошибался, я был опьянен ароматным нектаром агни-йоги. Ароматным, но ядовитым.

Как некогда прекрасная медиумша Зои, теософы вещали сладкими устами, обещали невероятные открытия, широкие горизонты, сверхвозможности и сверхспособности, яснослышание и ясновидение. Надобно только настроить тело, как передающее устройство с резонанс-трансформатором.

В противовес тибетцам они излучали рафинированное благочестие, в противовес воинственным тибетцам воспевали сострадательность, в противовес жестким, крепким, безжалостным тибетцам они являли собой образчик божественного совершенства. Их дома были светлы, что не стена – алтарь, украшенный цветами лотоса, самыми светлыми и притягательными образами Тары, Ганеши, Шивы, Вишну и Кришны. Они дышали улаждающими обоняние благовониями, зажигая их в каждой из комнат, ступали неслышной легкой поступью стопами, облаченными в легкие сандалии, свои чистые, умасленные тела они несли, как дар богов, возвысив культ тела к самому поднебесью. В противовес тибетцам, которые разрушали брэнную оболочку, теософы ее превозносили как частичку Великой Космической Любви.

Признаюсь, я отдыхал не только телом у господина Р., но и душой, и разумом. После пхёкэ русская и английская речь звучала божественной музыкой – ясной, как горный хрусталь.

Но эта ясность была иллюзорна. Теософы изъяснялись еще более пространно, чем Ринпоче на пхёкэ. Казалось, эти сошедшие с небес предки лимурийцев, адепты «живой этики» – так они себя величали – не были способны лукавить, юлить, но все их учение сводилось к бессмысленному набору красивых метафор.

В конце концов слащавость и рафинированность адептов живой этики стала меня утомлять. Я с тоской вспомнил о тяжелых упражнениях, которым обязан был неким физическим своим преображением, тело ныло в бездействии. Созерцательное спокойствие отдавало праздностью, вечное перемалывание из пустого в порожнее – пустословием... Ум мой уперся в тупик, а сердце снова стало требовать великой аскезы монастыря. Молчания, тишины и покоя. Мне казалось все вокруг лживым и бессмысленным, пустым сотрясанием воздуха, напускным превосходством. Господин Р. был умным, образованным молодым человеком, он носил непальскую шапочку, писал чудесные картины и призывал братьев и сестер расширять сознание и содержать ауру в Чистоте. Но все слова его были до того туманны и совершенно не подкреплялись никакими чудесами. То были лишь слова, слова, слова, красивые слова, вырванные из Голоса Безмолвия, гипнотизирующие и паразитирующие. О да! Было в призывах жить согласно закону Великой Космической Любви, вытеснить милосердием жестокость, прощением убийство, вести чистое, гармоничное существование нечто от Истока. Но длительное существование теософского общества, несущее бремя примера идеальной общины, да и множество теософов, разбросанных по миру, не приблизили мир к идеальному ни на йоту. Не являли они чудес, подобно Будде и Иисусу, не пытались одеть голых в одну тунику и накормить голодных одной рыбиной. Возможно, они не имели никаких дурных помыслов, но совершили

самую известную ошибку всех искателей истины – они принялись идеализировать естественное течение жизни.

Так я понял, что теософы – лгуны, творцы очередной иллюзии, неисполнимой, невозможной и даже противной природе всего сущего. Они подобны ярким ядовитым цветам, влекущим радужным сиянием, надеждами, что остановить смерть и убийство можно лишь волей и собственным примером, что чистота и святость разольются полноводными реками по земле, едва человечество дружно возжелает нести святость на своих плечах, будто соболиную мантию.

Всяк приходящий в храм поклонников Голоса Безмолвия надевает на глаза нечто похожее на кинетоскоп Эдисона и взирает, взирает на прекрасные виды, неминуемо шагая к пропасти. Я едва успел сорвать с глаз пелену, чтобы не рухнуть в эту пропасть, вовремя вспомнив тибетцев, ставших мне едва ли не родными!

Отбрось пять преград духа, затуши в себе все дурное, независимый, нетревожимый, нежелающий, ты гряди одиноко, подобно носорогу!

Несолоно хлебавши я вернулся к белым стенам Ташилунга, надел коническую шапочку караульного и приготовился сызнова, с самого нуля, побеждать все пять преград духа, успевший отупеть и привыкнуть к лености у теософов.

Уже поверивший, что больше меня никогда не увидит и было обрадовавшийся тому, Ринпоче не мог отказать. Вдруг Тара разгневется? Пойди разбери, что божеству надобно? Мне было жаль старика, но, похоже, нашим путям на длительное время суждено было сойтись. Возможно даже, учиться друг у друга. Я не заметил, как возгордился у теософов, и уже ставил себя и Ринпоче на одну ступень. Мне казалось, блеск в его маленьких глазках выдавал недоумение, увы, не делающее ему честь, как воплощению вселенской мудрости и знаний.

Вернулся в царство жесткой дисциплины и покорного молчания. Но теперь мне сложно было быть послушным и прилежным учеником. И за стенами монастыря меня преследовал призрак лжи, обмана. В текстах – священных буддистских текстах – вдруг мне стали открываться удивительные вещи. Я стал видеть между строк то, о чем никогда не говорилось вслух. Так, в притчах о добродетелях и о презренном рассказано было о явлении божественных существ на землю, но кто они были – молчок. Или в рассказе о том, как с верою и терпеливостью победить страдания, внезапно Будда проявляет гнев, но никто никогда не обращал на это внимания.

Я бросился к Ринпоче с просьбой открыть мне смысл написанного.

– Вот гляди, мудрый наставник, – говорил я, – злой дух Алавака, придя к Совершенному, четыре раза просил его выйти из своего жилища, а потом требовал удалиться. Праведность и терпеливость велит Совершенному – и Совершенный неустанно твердит об этом, умножая тем самым количество своих учеников, – что нужно было входить и выходить из жилища, пока Алавака не устал бы произносить фразу: «Выйди, о странник!» и «Войди, о странник!» – и отвечать словами: «Пусть будет так, о друг!» – бесчисленное количество раз.

Ринпоче молчал, изучающе глядя на меня.

Тогда я продолжил:

– Далее Будда проявляет чувство самовлюбленности и похваляется своей силой. «Никого нет на свете, о друг, никого нет в мире Брахмы и Мары, ни среди живых существ, включая богов и людей, отшельников и брахманов, кто бы мог расколоть мое сердце или, взяв меня за пятую, перебросить на ту сторону Ганга...» – говорит он.

Я позволил себе слишком многое – позволил осуждать Совершенного.

И оказался в яме. Похожей на кувшин с узким отверстием, через которое доставляли еду. Это была обычная мера наказания, которой я придал ореол мистицизма. Мне казалось, я потребовал самой строгой кельи, чтобы сразиться с мрачной богиней Шридеви, я клялся убить ее и доказать монахам свое превосходство над ними. Меня тащили к темнице, а я несвязно орал и выбивался. Сейчас подобное вспоминается с горьким смехом.

Даю на отсечение руку, ламы молили всех богов, чтобы я помер в этой яме, разбил лоб о какой-нибудь случайный выступ валуна, ибо им осточертело мое соседство, они давно сожалели, что пригрели такого беспокойного иностранца. Ах уж эти иностранцы. Ничего-то они не смыслили ни в правильности обучения, ни в устройстве мироздания. Эти торопливые существа хотели получить желаемое прямо сейчас и не терпели отлагательств. Таков был и я.

В яме, чтобы не сойти с ума, я стал считать. Считал вслух, сначала до тысячи и засыпал, потом до десяти тысяч, потом до ста тысяч и обратно. Внутреннее зрение стало плести чудесные круги, овалы, завитушки на полотне абсолютного мрака. Многообразие красок буйным фонтаном захватило внимание. Они накатывали на меня полусферой, словно большая медуза, замирали, давали разглядеть себя и уносились прочь. На смену являлась другая полусфера с узором еще более чудесным.

С детства я видел под закрытыми веками эти узоры: перед тем, как заснуть, или когда изнуренный штудированием судебной литературы едва не валился под стол от усталости, когда серая дымка конторы накрывала своей нелепой безнадежностью. Отбросив бумаги, я замирал, принимался сверлить неподвижным взглядом пространство, разглядывал эти полусферы с движущимся рисунком внутри, пока кто-нибудь не приводил в чувство окликом. Еще до встречи с Зои Габриелли я чувствовал, что в них больше смысла, чем в жалком, никчемном существовании безликого клерка.

В звенящей ясности тишины я вдруг понял, что считаю по-тибетски – оказалось, учил язык не зря. Разум, подобно бушующему от непогоды морю, затих, потонул в самоизучении – что еще, кроме счета, он усвоил, быть может, какие откровения, впечатавшиеся в мозг невразумительной тарабарщиной лам, раскроются моему пониманию подобно тропическим цветам?

Пустота делилась, как радуга, на палитру цветов с бесчисленным множеством оттенков. Я считал каждый цвет и запоминал его номер. Комбинировал оттенки, извлекая из собственного сознания их порядковые номера. Потом все слилось воедино.

И появились Синий и Зеленый.

Не сказать, что я их видел и слышал. Ничего такого не происходило. Кругом все говорят, что глас божий ясен, как звуки органа, его не спутаешь ни с чем. Но голоса моих духовных братьев не являлись с неоспоримой ясностью звучавшего музыкального инструмента. Мне приходилось выколачивать голоса из своей головы, вырывать их из ушей едва ли не клещами, додумывать за них, досказывать.

После того как вернулся из ямы, я долго просиживал в одиночестве, сидя, будто Бодхидхарма с недрогнувшими веками, глядел в одну точку и ждал, когда же Синий или Зеленый скажут хоть одно слово, хоть один слог, хоть букву произнесут. Я был несказанно рад, что они есть, что они снизошли до меня, и я, быть может, продвинулся в своем понимании еще на виток.

И наконец они заговорили. Говорили долго, не могли остановиться, спорили, утверждали что-то, бывало соглашались друг с другом, а потом опять начинали спорить. Или просто о чем-то рассказывали, старинные тибетские сказания наверное... Я ничего не понимал, ни слова, это было словно воздействие звуковыми вибрациями на тончайшие нити мозга. Не принимая никакого участия в баталиях, тем не менее я выходил из них совершенно измотанным, и не подозревая вовсе, что в конце концов пришел к скверной привычке простых смертных – разговаривать сам с собой. Я просто наделил одну свою половину синим цветом, а другую – зеленым, полагая, что это сам Ваджрадхара и сам Амогхасиддха снизошли до своего младшего духовного брата, Гершина Емели, чтобы пособить открыть тайну его воплощения, узнать чьим аватарой явился он на землю и с какой целью.

Чудеса, никакого мошенничества, чудеса не разума, а намерения – я ужасно, до колик, желал ощутить себя человеком шестой расы, ощутить себя равным богам, как когда-то желал остаться в Ташилунге, переломав себе пальцы о бамбук, хотел сделаться древним атлантом, умеющим мыслью воздвигать стены, передвигаться в пространстве и времени, постигать зна-

ния лишь прикосновением к источнику. И поступил так, как поступало все человечество – не найдя божественной силы, я ее выдумал. А изображения взял самые почитаемые.

О чем с восторгом и поведал Ринпоче.

– Ты еще и с самим Ваджрадхарой говоришь? – выпалил тот.

– Да, учитель. И с Амогхасиддхой.

– Где же они?

Я указал пальцем на свой висок. Если б Ринпоче позволено было осенять себя крестным знаменем, то он непрерывно крестился бы, всякий раз, когда видел Говорящего с Тарой, как называли меня ламы.

В конце концов Ринпоче велел мне покинуть монастырь, выставил вон, искусно завуалировав изгнание советом искать ответ в другом месте: велел обойти горы кругом, обойти Тибет, Непал, Бутан, идти, пока одежда не сотрется и не исчезнет с тела, пока посох не истончится в тростинку и не сломается пополам. Тогда ноги сами приведут к истокам великой реки Кали-Гандак, в таинственное, затерянное во времени королевство Мустанг, именно там и обретается, по преданию, черная богиня. Она сама пойдет навстречу ко мне и скажет, зачем, мол, ты ходишь кругами, словно желаешь увести меня в воронку времен, тогда я смогу спросить ее в ответ, зачем она явилась на землю и вдохнула жизнь в смертное тело Элен Бюлов, которое творит беззакония и вместе с тем является чистойшей и святейшей душой.

Я поверил настоятелю, искренне, всей душой, ушел за ворота, сменив одежды доб-доба на одежды странствующего монаха. И честно обошел горы кругом, и не раз. Ходил от храма к храму, каждому встречному махатме рассказывал о черной богине, каждый махатма удивлялся прекрасному моему пхёкэ, пали и санскриту, знанию объемных текстов Ганджура и Данджура и считал своим долгом пожелать успехов в непростой моей миссии.

В конце концов, сбившись с пути, окончательно заблудившись в лесах и горах Страны Снегов, проводя ночи под звездным, морозным небом, если везло – в ашрамах, храмах или в деревне, сам того не замечая, я уже ходил кругами.

Память стала подводить меня. Я уже не мог с уверенностью сказать, кто я, где пробыл все эти годы. Я жил лишь настоящим временем. Уже ни прошлого, ни будущего не существовало. Это была медитация длиною в несколько лет.

Из года в год заходил на ночлег в одни и те же места. Меня спрашивали, куда я направляюсь. Я отвечал, к истокам Кали-Гандак, чтобы победить черную богиню.

Мой облик поменялся, меня не узнавали, каждый раз принимая за кого-то другого. Я выглядел пугающе. Порой зеркальные воды горного ручья или небольшого озерца на каком-нибудь плато возвращали мне отражением лохматое чудовище: черное высохшее лицо, волосы отросли до лопаток, борода спустилась до груди, одежды стали такого цвета, что и сказать трудно какого.

Но вот спустя много лет в одном из храмов в ответ на мою исповедь поведали мне легенду о чужеземном страннике, знатоке священных текстов, которому великие адепты поручили приблизить светлые времена Сатья-юги, как две капли похожем на меня самого.

Я не придал значения, двинулся дальше, но через пару лье, у порога другого храма, меня встретила точно такая же история. Мол, много-много веков назад монаху явилась Кали, запугать хотела, насылала видения страшные, сна не давала, но лишь из страха она поступала таким странным образом, ибо страннику этому выпала особая миссия – погубить черную богиню. Мол, лишь ему одному, осененному божьей благодатью, суждено было открыть ворота в Золотой век Дхармы. Сам Ваджрадхара и сам Амогхасиддха ведут миссию к черной богине Шридеви, советами своими озаряя путь. Не иначе он – сам Авалокитешвара.

Тут меня осенило, как всегда ярко и будто в первый раз.

– Мне? Стало быть, это я и есть, тот чужеземец, должный явиться из ниоткуда и порадовать Шридеви! Саму Кали! А со мною по правую руку и по левую шагают сам Ваджрадхара

и Амогхасиддха? Я – Авалокитешвара – всепоглощающая божественная сущность – проявление Вишну и Шивы. Ом мани падме хум! Я двенадцатое воплощение верховного божества Мудрости!

И озарение это произошло, как ни странно, в ущелье между Аннапурной и Дхуалагири, там, где река Кали-Гандак брала начало.

Глава III

Последнее представление: Наука против Магии

На самом деле прослonyaвшись с десятков лет по горным тропам, почти срастившись с почвой, с кустарниками и травой, износив шафранового цвета тунику до дыр, в лохмотья, я и не понял, как сам же и превратился в сию легенду. Ведь сколько ни ходил, сколько ни проводил часов в бездумном движении вперед и вперед, все не шла из головы Элен Бюлов с черным лицом. Засела занозой, будто только ей ведомо, как отгадать ее же хитромудрый ребус. Убить, уничтожить, сразить проклятую!

С мыслью обрадовать Ринпоче, что боги ответили мне, ниспослав озарение, вернулся я к порогу Ташилунга.

Но двенадцатому воплощению Авалокитешвары даже ворот не отворили.

Караульный лишь приоткрыл калитку и швырнул мне в ноги мои скромные пожитки – одежда, в которой я явился к стенам монастыря семнадцать лет назад, пара писем от дяди и еще одно – извещение от его поручателя, пришедшее, судя по ветхости конверта, уже давно. Казалось, что в места, где я намеревался утаиться от всего мира, не доходит почта. Но людской муравейник устроен так, что корреспонденция нашла меня даже в самом сердце святилища.

Оказалось, дядя Николая скончался, оставив мне небольшой домик в Сен-Жерменском предместье Парижа с годовой рентой в три тысячи франков. Никчемные акции недостроенного канала достались ему. Кто ж знал, что строительство возобновят, и акции канала стремительно возрастут, а дядя отвоюет наше скромное имущество да еще и приумножит его?

Преисполненный уверенностью, что это побуждение божественных сил к действию, я направился в Бомбей, а из Бомбея в Европу. Я отправился убивать Кали!

Поначалу я двигался наобум, почти ни на что не обращая внимания, ведомый лишь Синим и Зеленым. Я научился не торопиться и не оглядываться, сталкиваясь с удивительными переменами, не пропускал их в разум. Но долго мне не пришлось хранить отрешенность. Реальность была тверда и довольно тесной, чтобы не ощутить ее давления вскоре.

В Париж я прибыл осенью 1907 года, сошел на перрон вокзала Аустерлиц, не узнав его вовсе, и двинулся по указанному поручателем адресу. Тогда-то впервые я не смог совладать с нахлынувшим на меня удивлением. На первом же фонарном столбе, будто тот самый божественный перст, будто знак господень, меня встретила афиша.

Да, обыкновенная афиша, уже старая и выцветшая на солнце, с потекшими красками, – такими обычно украшали стены на улицах, столбы, стволы больших дубов, заборы, таких было полно в любых городах.

До сей минуты мне казалось, что меня не тревожит суета городов. Поначалу меня не удивила скорость поезда, не заставил поднять глаз ревущий звук мотора в небе – над Авиньоном пролетали самолеты, не восхитили пароходы на причалах Марсея – стальные беспарусные гиганты. А ведь корабли нового века основательно разрослись вширь и ввысь, изрыгали клубы дыма супротив маленькому пакетботу из крашеного дерева и с косым парусом, привезшему меня в Бомбей семнадцать лет назад. Было на что посмотреть, но меня это не тронуло.

А тут вдруг всеми силами контролируемое самообладание выбила обычная афиша. Красными кричащими буквами было выведено: «Впервые в Париже. Прекрасная медиум Зои Габриелли, заклинательница змей, слонов и тигров, провидица и повелительница загробного мира». И портрет мадам Элен, столь же юной, как и семнадцать лет тому назад. Две черные косы ниспадают на сари небесно-голубого цвета, лоб стиснут диадемой, в руках – тяжелый питон, пылающий в огне. Сама она сидит верхом на слоне, вставшем на задние ноги-тумбы,

а рядом разлегся огромных размеров тигр. Афишу трепало ветром, углы ее отклеились, часть текста смыло дождем.

– В конце августа были ее удивительные представления, – слышался за моей спиной чей-то голос.

Я давно заметил, что стою, читаю не один, но обернулся, только когда незнакомец заговорил. Любопытный прохожий разглядывал меня с интересом. Меня: мужчину с нелепой стрижкой выжженных солнцем волос – те отросли в дороге и смешно стали виться, с почти черным, как у всякого тибетца, лицом, странно одетого. Дело в том, что я, как и все тибетские монахи, брил голову и презирал одежду. Я облачился в те же брюки и тот же сюртучок, в которых был в Бомбей, в которых пешком прошел по дорогам Индии, Китая, Непала и Тибета, в которых пережил у стен Ташилунга весну, лето и осень, а с ними и дожди, кутался от ветра, изнывал от зноя и мерз. Сюртучок этот болтался на моих худых плечах, как на перекрестии палок огородного страшила. На ногах была та же пара обуви, которая извела трудности моего первого горного перехода через Индию, Бутан и Непал. Будда сам никогда не имел иной одежды, кроме той, что подобрал прежде кем-то выброшенную, он очищал ее шафрановым порошком и носил до тех пор, пока одежда не стиралась до дыр. Я не стал начищать свой сюртучок шафраном не только исходя из соображений, что специя эта ныне невообразимо дорога, но и потому, что и без шафрана выглядел довольно нелепо, ведь прошло столько времени, люди изменились.

Что и говорить, сменилась целая эпоха – человечество шагнуло в новый, двадцатый век. По улицам разъезжали экипажи без упряжи и без лошадей, воздух рассекали аэростаты и дирижабли, их было больше, чем птиц, люди развлекались просмотром движущихся картинок, весьма правдоподобно изображающих реальность. У всех на устах были такие чудные слова, как «кинематограф», «радиоприемник», «автомобиль», «самолет», «конвейер», «индустриализация» и «скорость». Прогресс сделал людей еще более суетливыми, беспокойными, взбудораженными, вечно куда-то стремящимися.

Выбравшись наружу из царства тибетских гор, в которых самым стремительным были лишь ветра и дожди, а самым шумным – грозы, я не ожидал, что суета городов станет настоящим испытанием моему спокойствию. Уже оказавшись в Бомбее, я был несколько ошеломлен, оглушен, подавлен и едва не раздавлен. Я не узнал города: настоящий муравейник, безумный муравейник, состоящий из самодвижущихся экипажей, рикшей, прохожих и господ, лихо разъезжающих на велосипедах разнообразной конструкции. Было дело даже – очутился под колесами одного из этих двухколесных стрекоз, зазевавшись всего на несколько секунд.

На помощь пришли Синий и Зеленый.

– Шум – это лишь отражение хаоса от стен брэнного.

– Нет стен, нет отражения.

– Нет шума.

– Нет хаоса...

Помню, отполз на обочину, тотчас же послушно вернув душу глубоко внутрь своего микрокосма, вернув в царство безграничного пространства вечности, где нет границ и нет эха жизни. А голос месье с велосипедом, повалившегося рядом, сначала доносился до меня словно из глубокого ущелья, а потом затих вовсе. И событие истерлось из памяти. Отполированная буддийской дисциплиной психика стойко сопротивлялась шуму и хаосу.

Я собрал все свои силы. Я прекрасно мог отключать слух и даже зрение.

Но запертое сознание в недрах микрокосма порой заставляло меня попадать в курьезные ситуации.

Сначала я едва не проворонил высадку во французском порту и едва не отправился обратно в Индию. Меня обнаружили медитирующим в собственной каюте спустя сутки, как последний пассажир покинул пароход.

Следом я не успел на поезд в Париж; и провел две недели на берегу моря, обитая прямо в порту, меж складами и доками на пристани.

В сущности мелочь, не стоящая внимания для меня нынешнего. Будь я рабом лампы по имени «Гру и Маньян», то, верно, продолжал бы трястись над каждой секундой, жадно изучал бы расписание поездов, составлял графики, как делал прежде, когда какому-нибудь авиньонскому землевладельцу вдруг вздумалось выписать адвоката из Парижа, и тотчас летел стрелой на вокзал, чтобы поспеть на ближайший рейс.

А мне нынешнему некуда было спешить. Солнце встало, солнцу положено сесть, и оно не скроется раньше срока. Я – Авалокитешвара – всепоглощающая божественная сущность, которой так или иначе предначертано поймать черную Шридеви-Кали. И Кали не будет поймана раньше, чем потребует вселенское равновесие.

Я иначе воспринимал время, чем раньше. Семнадцать лет, прожитых в горах, были для меня как семнадцать дней и в то же время как семнадцать веков. А та горстка лет, милостиво определенных щедрым Господом Богом человеческому телу, для меня перестала иметь какой-либо смысл. Я не считал себя телом, я давно определял себя как «бессмертная душа, пребывающая в бесконечном пространстве». Позади была вечность, впереди ждала вечность. Куда спешить? А сутки – это лишь один рассвет и один закат. Если земля движется с такой скоростью вокруг солнца так, что меж этими астрономическими явлениями лишь двадцать четыре часа, то это вовсе не значит, что нужно поспевать за всем, именно когда светило зримо, и завершать дела, когда приходит ночь. У вселенной нет дня и ночи, нет времени суток. Жили бы мы где-нибудь, да хоть на Юпитере, сутки измерялись бы земными годами.

Я продолжал любоваться закатами в Марселе. И меня совершенно не заботило, что люди оглядывались на мой странный, отрешенный вид, старомодный, потрепанный сюртучок и необычную позу, которую я принимал, когда любовался морем. Сидеть на земле, подобрав под себя босые ноги (обувь большей частью я носил в руках – мостовые в сравнении с горными тропами казались мягким персидским ковром), было не принято на европейской земле. Меня не заботило и то, что я в четвертый раз покупал билет до Парижа, но в четвертый раз опаздывал на перрон, не на час опаздывал, не на два, а на целые сутки, заставляя проводников, кондукторов и машинистов заливаться безудержным смехом. Что за чудак – в который раз предъясняет просроченный билет, невозмутимо приобретает еще один и вновь является не вовремя?

И вот, прибыв наконец в Париж, я, остававшийся невозмутимым все это время, застыл как соляной столб под афишей и не мог двинуться с места, уже во второй раз за долгое время ощутив внутреннее колыхание ярости. В который раз душа покинула бесконечность и уют микрокосма, в который раз выставила свое любопытное ухо.

– Она гастролирует? – осведомился я у прохожего.

– Да, тур по Европе. Была в России, следом в Италии, Австро-Венгрии, Германии, Польше. Неделю назад отбыла в Лондон. Думаю, вам ни за что, увы, не поспеть за ней в Лондон, – усмехнулся тот. – Разве только сразу в Нью-Йорк. Но вы несколько не потеряете, ежели останетесь. Обещают, что прибудет другой иллюзионист – Гарри Гудини. Ничем, я вам скажу, не хуже мадемуазель Габриелли. Ну разве только не так молод, как девушка.

– Молод? – проронил я. – Насколько я знаю мадемуазель Габриелли, ей стукнуло сорок.

– Ваша правда, месье, но ведь на то она и внеземной адепт, чтобы не иметь возраста вовсе.

Я не удержался от строгого взгляда, окатил им болтуна, совершенно не подозревая, что минутой назад про внеземного адепта сам же и выболтал, бормоча себе под нос.

Я все время бормотал под нос, не очень-то на это обращая внимания и давно позабыв, что так нормальные люди себя не ведут. Стоя под афишей с именем Зои Габриелли, я искренне полагал, что молча слушаю, как Синий и Зеленый обсуждали свою подругу Шридеви-Кали, принявшую земное воплощение. Возвышенную сию беседу слушал и зевака. И даже не один: собралось около десятка поглазеть на странного человека с седеющими светлыми барашками

волос, с морщинами на заветренном и загорелом лице, который ежесекундно менял выражение гримас и вещал то тонким тенорино Амогхасиддхи, то чуть подхриповатым драматическим баритоном Ваджрадхары.

Не сразу я обернулся, не сразу моего слуха коснулся дружный хохот: смеялись мальчишки, придерживая кепки, смеялись толстые молочницы, юные студентки в беретках, смеялись почтенные господа в клетчатых пальто. Но меня опять не тронула сия картина, опять я остался совершенно равнодушным. Отпечаталась в моем сознании, как легкий слепок башмака на песке, который тотчас смыла пенистая волна. Я лишь на секунду ощутил смятение, а может, и того меньше. Оглядел туманным взором толпу и прошел сквозь нее, решительно шагая к вокзалу.

– Нью-Йорк так Нью-Йорк, – сказал Синий.

– Нью-Йорк, не Нью-Йорк, – заунывной песней отозвался Зеленый, – все равно куда. Вселенная бесконечна и каждая ее точка – центр.

С таковой вот медлительностью и продолжая попадать в истории, я оказался в Нью-Йорке лишь в декабре. Закончил дела с дядюшкиным наследством, совершил паломничество в Лондон, в надежде поспеть-таки на концерт, но и там лишь потоптался под фонарным столбом, под афишей со смытой лондонскими дождями краской, с поблекшими алыми буквами, кричащими об удивительных способностях заклинательницы и прорицательницы Зои Габриелли.

В Ливерпуле я почувствовал, что неплохо бы ускорить свое продвижение, и осведомился, какой из нынешних трансатлантических пароходов самый скорый. Спешка чрезвычайно заразна. Или заразной оказалась атмосфера, царящая кругом.

Я приобрел билет на популярное судно «Лузитания» – оно завоевало первенство по скорости среди всех европейских судов в позапрошлом месяце – смешно, ведь не поленился узнать и это. И уже через шесть дней ступил на твердую поверхность пирса № 54 западной стороны острова Манхэттен.

В пути я уже не выдержал тесноты каюты, как удавалось прежде, мое непоколебимое спокойствие принялось таять, словно весенний снег, я не смог сохранить неподвижность тела даже в течение четырех часов и пробрался на нос парохода верхней палубы. Опять поддался чувствам, отдался ощущениям. Стоял, перекинувшись за поручни, и дышал этой бешеной, даже безумной стремительностью корабля – тот мчался быстрее птицы, быстрее, быть может, чем мчалась Земля вокруг Солнца. Машина как будто даже опережала время.

Окружающее стало не на шутку меня возмущать, невзирая на мое полное, казалось бы, понимание происходящих во вселенной преобразований. И вдруг, стоя на носу быстроходного лайнера, преодолевая головокружение от неистовости рева волн, безумства ветра, бьющего в лицо, – искусственного ветра, созданного гигантскими лопастями, – стоя в старом, потрепанном сюртучке, пошитом в прошлом веке, который создавал странный контраст с новеньким железом, ясно осознал, что раздражаюсь я всякий раз, как сталкиваюсь с шумной действительностью, оттого что не имею к ней никакого отношения, – будто выставленный вон из общей мирской игры, будто ребенок, которого наказали и заперли в чулане, в то время как сверстники продолжали строить дом на дереве, и очень даже в этом преуспели.

Я потерял даром семнадцать лет.

Человечество успело сделать сто шагов в будущее. А все, что имел я, – жажду смерти Элен Бюлов.

– Печалится ли песчинка, что не стала каплей в море? – менторским тоном подал голос Синий.

– Льет ли слезы ревень, что не стал розовым кустом или цветущей магнолией, – тотчас подхватил Зеленый.

И тотчас же от сердца отлегло. Синий и Зеленый всегда являлись вовремя.

– Каждому цветку свое место в саду.

- Да, да, я помню, – перекивая ветер, отвечал я.
- Каждый стоит на своей ступени развития. Во всем есть Душа.
- Да, да, хмель сошел, – оправдывался я.
- Оставь мерило. Вселенной не измерить.
- Будем верны Пути, – заключил Синий.
- Путь – вот единственная цель, – согласился Зеленый.
- Я верен, я по-прежнему верен Пути. И все вокруг иллюзия.

Города было не видно. На пристань спустился густой туман, валил снег с дождем, люди толкались, кололи друг друга распахнутыми кувшинками зонтов. Меня влекла бурная людская река совершенно неведомо куда. Я миновал пирс, прошел одну улицу, другую, и первое время все, что мог видеть, – мокрые спины и колючие зонты, с которых лились потоки воды.

Но толпа стала редеть, люди исчезали в самодвижущихся экипажах с широкими колесами, между домами, в бесконечных дверях контор, лавок, кабаков. На несколько минут туман рассеялся, я разглядел длинную улицу с ровной стеной зданий, а потом поднял голову и залюбовался небом – наверху, на небесах словно кто-то краски пролил: черную и белую, и долго возил кистью создавая клубистые, свинцовые завихрения. Показался кусочек синего неба, сверкнул луч солнца: совсем рядом, можно дотянуться рукой. Я невольно расплылся в улыбке.

А потом улыбка медленно сошла с моего лица – кусочком синего неба оказался витраж безмерно высокого здания – небо было всего лишь отражением, а луч света преломился в широком стекле, как в зеркале.

За считанные минуты распогодилось, засияло солнце, туман отступил, снял с крыш небо-скребов покрывало. Я не заметил сразу, какими они были высокими. Но самым высоким было то, у цоколя которого я остановился и которое озаряло улицу светом вспыхнувшими на солнце витражами. Кирпичная его громада уходила далеко к облакам, словно гора, словно дом поставили на дом, а потом взяли еще один дом и водрузили его на два предыдущих, а поверх этого кирпичного пирога с рядом блестящих синих окон опустили круглую башню-бельведер, шпилем уходящую в черные тучи.

Я встал, разинув рот, и, не стесняясь прохожих, глазел, как мальчишка, потом даже начал водить по воздуху пальцем – считать этажи, позабыв о своей тибетской невозмутимости, клятвах никогда не удивляться ничему увиденному и свято хранить покой души. Один, два, десять, пятнадцать, двадцать... Солнце пробилось сквозь пласт тумана и осветило другое здание, стоящее почти вплотную с первым: буро-кирпичное, точно так же, как и первое: тяжелое, мощное, убегающее в небо и увенчанное трепещущим на ветру красно-синим полосатым знаменем. Оно было ниже: я насчитал десять этажей и сбился...

В эту минуту раздался чудовищный шум, грохот железной каракатицы – прямо на меня несся – нет, не велосипед, как то случилось в Бомбее, но трамвай, колокол которого разрывался от трезвона. Машинист, наполовину высунувшись из окошка, махал зеваче в потрепанном сюртучке, то есть мне, кричал что-то по-английски, с добавлением каких-то непонятных, не то сербских, не то албанских ругательств. Я ведь быстро позабыл, как оказался под колесами двухколесного авто на проезжей части в Бомбее, позабыл, что неплохо бы немного соблюдать осторожность и не зевать. Иллюзия не иллюзия, но стукаться каждый раз об нее было больно. Я ведь считать этажи остановился прямо посреди улицы, одной ногой на электрических рельсах. И насилу успел отскочить в сторону, как едва не попал под колеса другого трамвая, мчавшегося навстречу первому. Из окошка пригрозил кулаком другой машинист и огорошил ушатом уже не албанской, а немецкой брани.

Под колокольный перезвон трамваи съехались и разъехались.

Следом проскочили два едущих подряд открытых электроавтобуса, промчался зеленый двухъярусный экипаж, верхом на крыше которого восседал водитель, а внизу пассажир – почтенный старичок в очках.

Несколько мгновений я стоял, прижавшись к стене громады здания, принадлежащего одному из известнейших нью-йоркских издательств, ожидая, что еще какое-нибудь электродвижущееся «нечто» пронесется мимо. Но взгляд мой вновь увлекла кирпичная стена с блестящим витражем, а потом другая, третья, четвертая. Я перебегал взглядом от здания к зданию и не уставал удивляться. Улица принадлежала газетчикам. И те не поскупились возвести самые высокие строения, дабы их стены могли использоваться для множества рекламных вывесок.

Ноги понесли дальше. Синий и Зеленый милостиво молчали, позволяя своему подопечному насладиться невидалью. В тот день моя невозмутимость окончательно иссякла.

Нью-Йорк почти весь оказался невообразимо высок. Башни, дома, даже церкви были здесь в несколько раз выше парижских, их словно поливали из волшебной лейки. И даже если Эйфелю вздумалось бы построить свою ажурно-стальную конструкцию на Манхэттене, то она просто-напросто потерялась бы среди изобилия убегающих в небо строений.

Едва ли не на каждой крыше развевался штандарт Соединенных Штатов Америки – разлинованное полотно с россыпью звезд. В глазах рябило от бесчисленного количества цветных вывесок – вывески были всюду. Они приглашали в модные лавки, на театральные постановки, демонстрировали товар и разносортные услуги.

Улицы были разлинованы правильно, будто по линейке, здания ни углом не выдавались вперед, ни крыльцом, ни забором, – все как в тетрадке школьника-аккуратиста. Но было что-то в этой строгости неземное, вторгалось порой в нее нечто космическое. Например, висящий вдалеке мост, тросы которого едва проглядывали сквозь остатки тумана, полупрозрачным саваном застывшим над океаном. Или огромная изумрудного цвета фигура олимпийской богини. В терновом венке, подпиральная черные тучи факелом в вытянутой вверх правой руке и со скрижалю в левой, она олицетворяла американское свободолюбие. А собирали статую в свободолюбивом Париже лет двадцать тому назад на улице Шазель. Не сразу я признал в этой колючей голове старую знакомую – тогда она была совсем другого цвета – бурого. Еще школяром я видел ее торчащей над кронами деревьев с участка мастерских месье Эйфеля. Но она была недостроена и покрыта лесами. А здесь – она словно властвовала над набережной, будто для того и поставлена была, чтобы растапливать факелом все норвящий наплзти с океана туман. Стояла как истинный привратник.

Я шагал вперед, глазел, бормотал себе под нос, пока не остановился перед зданием необычной треугольной конструкции, разъединяющей улицу на две части ровной буквой «Y», поднял глаза и отшатнулся. Под самой крышей этого здания висела в стократ увеличенная афиша.

Тот же текст, что в на парижской и лондонской афишах, те же слоны и тигр. Но внизу приписка черными кудрявыми буквами: «Последнее представление доктора Иноземцева. Разоблачение Зои Габриелли. Наука против Магии». И дата: сегодняшняя.

Последнее представление! Разоблачение Зои Габриелли... Месье Иноземцев публично разоблачит ее? Как такое возможно?

На меня смотрело улыбающееся лицо Элен Бюлов, обрамленное черными косами, лоб стиснут причудливой диадемой. Рядом с ней будто повисла в воздухе строгая черная мужская фигура со свешенной как у куклы головой на грудь, лицо скрывали поля цилиндра – вероятно, это был месье Иноземцев. Широким жестом он расставил затянутые в белые перчатки руки в стороны, будто отвешивал публике комплимент. Но безжизненность его позы делала его похожим на огородное чудище, только одетое в новенький фрак. Чем-то зловещим веяло от этих расставленных в сторону ладоней.

Неужели доктор бросил медицину и стал фокусником? Ведь как ловко в его руках исчезали и появлялись карты. В гостинице Дюссельдорфа с большим апломбом он продемонстрировал удивительное мастерство ловкости рук. Теперь оба решили сойтись в бою на арене цирка,

метать друг в друга молнии, карты, цветные ленты из цилиндра и дрессированных кроликов и крыс.

Быть такого не может! И не должно! Чтобы доктор из ученого вдруг стал балаганщиком?

После минутного смятения я смог отвести взгляд от фигур мадам Бюлов и ее русского супруга и перечел строчку в самом низу – Медисон-сквер-гарден, 19.00.

– Мне туда не попасть, – первое, что пришло в голову. – Слишком поздно. Который час?..

Этот вопрос я не задавал более десятка лет. Который час... Разве важны эти цифры? Солнце на востоке – значит утро, в зените – полдень, нет солнца – ночь. Темнеет небо – время перед рассветом, пора будить монастырь – иногда мне выпадала и такая почтенная миссия. И без брегета я поднимался вовремя. Небо, каким бы оно ни было, звуки в воздухе – будь то пение птиц или жужжание цикады, солнечный свет – нежно-лиловый, или золотой, или алый – способны с точностью до секунды рассказать, который час.

Но небо, сокрытое небоскребами, молчало, оно находилось так далеко от меня, словно я опустился на дно глубокой гладко отштукатуренной ямы, заполненной автомобильным гулом, треском электрических трамваев и неумолкающим людским гомоном. Ни о каких птицах не шло и речи – природы здесь не услышать, лишь грубое присутствие человека.

Даже в китайских деревнях не было так шумно, хотя я полагал, что китайцы самый суетливый народ в мире.

– Душе неведомы никакие преграды, – вдруг заговорил Синий, заметив мое смятение.

– Душа как вода, – отозвался Зеленый, – она принимает цвет и форму сосуда, в котором пребывает.

Я опустил голову и оглядел себя. Решение пришло тотчас же.

– Правильно! Нужен костюм, – проронил я. – Спасибо!

– Душа станет незримой, коли будет отражать все вокруг, – продолжал Синий.

– Она сольется с миром, она станет прозрачной, – сказал Зеленый.

– Как вода, – пропели оба.

И я, развернувшись на пятках, двинулся в обратном направлении. Четверть часа назад я проходил мимо ряда лавок, располагавшихся на первых этажах высоких небоскребов. В память врезалась ярко-лиловая вывеска магазина готового мужского и женского платья где-то на пересечении двух ровных улиц – каких именно, я не запомнил. В Нью-Йорке вместо живописных названий на табличках часто значились просто цифры. И я запоминал оттенки, которым раздал номера. Для меня это находилось на пересечении серо-жемчужной улицы и пурпурной.

Эта манера заменять цифры цветами во мне родилась после пребывания в яме. Забавно было бы посмотреть на лицо прохожего, вдруг вознамерившегося спросить меня, который час. Я бы ответил – половина антрацитового или четверть персикового.

Звякнул колокольчик, следом застонала стеклянная дверь, пахнуло запахом шерсти и пыли. Под невысоким потолком в ряд стояли манекены и вешалки, в углу за грудой разносортных шляп и шляпок копался скрюченный и суетливый продавец в жилете без пиджака – разглядеть можно было лишь его округлую спину. За прилавком никого. Но поверх сидел мальчик лет двенадцати, читал книгу и грыз пряник. Он отнял глаза от страницы и бросил короткий взгляд на дверь. В одно мгновение его лицо изменилось, с колен скатился переплет и упал прямо к моим ногам.

Я поднял книгу.

«The Time Machine. H. G. Wells» – значилось на обложке.

– Это же настоящий путешественник во времени, – вскричал юный мечтатель. – Дядюшка, только глянь!

Из-за груды шляп и шляпок сначала показалась лысеющая, седая голова продавца, потом его плечи и туловище в потертой жилетке и с нарукавниками на рубашке, через голову был

перекинут портняжный метр. Он удивленно вскинул бровями, на мгновение растерялся, но вскоре поспешил отругать племянника:

– Ну Адам, как тебе не стыдно! Сейчас же принеси свои извинения. Сэр, добро пожаловать в лавку «Вэнссон и сыновья». Простите юношу, он такой фантазер...

И скользнул взглядом к моим босым ногам (к тому времени ботинки свои я где-то посеял), снова в удивлении приподняв брови.

Я кашлянул, вдруг ощутив неловкость. Мне казалось, я так редко раскрывал рот и говорил что-то вслух, в основном ведь за меня это делали Синий и Зеленый... Когда требовалось самому извлекать звуки из недр голосовых связок, чтобы обратиться к собеседнику, в горле вдруг пересыхало, язык с трудом отзывался на сигналы мозга. Между словами, произносимыми личной мной и теми речами, что толкали мои разноцветные братья, я делал немалое различие. Синий и Зеленый не трудились, чтобы говорить, мне же – Эмилю Герши – приходилось едва ворочать языком и насилу разжимать челюсти.

– Юноша прав, – проронил я, возвращая тому книгу. – Я явился прямиком из 1890 года. Именно тогда был пошит мой костюм. Не могли бы вы помочь приобрести что-нибудь, что носят в новом столетии?

И вынул бумажник, боясь, что меня примут не только за путешественника во времени, но за какого-нибудь бездомного.

– О да, сэр, конечно, сэр, сию минуту, сэр!

И под недоуменным взглядом мальчика, шепчущего: «Машина времени существует, это правда, этот мистер из прошлого», продавец увел меня в царство «готового мужского платья». Это было невероятно странное чувство – ощущать себя путешественником во времени.

Но, ступив за порог лавки, я забыл о роли путешественника и почувствовал себя актером немого кино.

Нет, вовсе не потому, что был одет в полосатую тройку и пальто, вовсе не потому, что мою голову украшала шляпа-хомбург, шею – галстук-пластрон, а ноги – жесткие и неудобные оксфорды. Я чувствовал себя комедиантом, вырядившимся так, словно желал посмеяться над окружающей лошечностью и манерностью. Люди видели элегантно одетого джентльмена, я же – шагающего мима с раскрашенным белой краской лицом. Вырядиться так было все равно что шагать за каким-либо прохожим, подражая его походке, манере носить портфель, держать трость и помахивать при ходьбе рукой.

По совету продавца я нанял самодвижущийся фиакр, который здесь именовался «такси». Это как раз был один из множества зеленого цвета электромобилей суетливо снующих по всему городу с большими, тонкими колесами, с восседающим на крыше шофером и мягким диваном спереди. Назвал Медисон-сквер-гарден, и за двадцать центов меня довезли до большого белого здания, находящегося на пересечении Медисон-авеню и 26-й улицы. Увенчанное четырьмя квадратными башенками с красной кровлей в мавританском стиле и одной невероятно высокой – тридцатидвухэтажной, оно величественно выдавалось над запруженной людьми и электромобилями, блестящей от дождя площадью.

Я не сдержал разочарованного вздоха – еще час до представления, а не то чтобы успеть приобрести билет, но даже пробраться сквозь эту толчею не было никакой возможности.

Судя по размеру и размаху здания, оно вполне могло вместить всех собравшихся и еще столько же. Но я не знал, что арена Медисон-сквер была уже полна, а на улице стояли те, кто, как и я, не приобрел вовремя билет на последнее и единственное представление, на котором таинственный русский доктор собирался разоблачить вечно юную прорицательницу Зою, вещавшую пророчества уже почти двадцать лет.

– Такого столпотворения не было со времен, как Сиракузы забили свой финальный мяч, – услышал я в толпе и невольно остановился.

– Этот русский доктор опять навел столько шумихи вокруг себя. Мало ему пожара на Лонг-Айленде и собственных похорон.

– Неужели он наконец снимет маску?

– Не-ет, говорят, он теперь страшно уродлив. Хотя стоит ли верить слухам.

– Если верить очередной утке Пулитцера, то и слухам – конечно!

– Вы читаете «Нью-Йорк Вордс»? Бросьте! После того как журналистка из этой газеты разыграла сумасшедшую, я ломаного цента не дам за клочок пахнувшей краской и пропитанной ядом бумажки, – взвизгнула дама в кремовом пальто и шляпке с такими широкими полями, что зонтик, который она держала над головой, был ей попросту не нужен. Дамы предпочитали очень внушительные головные уборы, и очень раздражались, когда в толпе задевали друг друга краями.

– Вот бы узнать, прибудет ли Гудини?

– Чтобы хоть краем глаза взглянуть, как русский заставит исчезнуть три слона, в то время как он смог совладать лишь с одним?

Все дружно расхохотались. Я тоже улыбнулся, хотя знать не знал, кто такой Гудини. И остался стоять еще несколько секунд, чтобы послушать, но группка больше ничего интересного не поведала. Да и слушал я, наверное, с чрезмерной и неприличной внимательностью, так что дама в кремовом пальто, плотно облегающем по нынешней несколько крикливой моде, стала косо поглядывать на странного не к месту улыбающегося господина, да еще и остановившегося на расстоянии вытянутой руки. Ее спутник осведомился, и не слишком почтительно, что мне надобно.

Меня спасло появление перекупщика билетов. Молодой человек в твидовой кепке набекрень и в пальто с чужого плеча нараспашку, из-под которого выглядывал растянутый пуловер, стал горланить, что продаст заветные бумажные лоскутки, которыми помахивал в воздухе, всего за двадцатку долларов. Я не успел и руки ему протянуть, как тотчас уличный коммерсант исчез из поля зрения – орущая толпа поглотила его, и билеты были моментально куплены кем-то более проворным.

С несчастным лицом, преисполненный молчаливого горя, я проводил взглядом того счастливирика и его спутницу, которым досталась возможность повидать саму Кали. А ведь они, поди, и не ведали, на кого отправились поглядеть. Никто вокруг и мысли не мог допустить, что прекрасная юная прорицательница есть земное воплощение Смерти...

А я знал, но знание это никак не помогло мне приобрести билет. Хоть то и без толку, тем не менее я стал протискиваться к кассам. И даже преуспел, но окошки были давно закрыты.

– Не могли бы вы мне помочь, – попросил я, подобравшись к работнику арены, одетому в зеленую ливрею времен Марии-Антуанетты. – Я давний знакомый месье Иноземцева, и единственный способ повидать его – попасть внутрь...

Швейцар окинул меня из-под белого парика насмешливым взглядом.

– Знакомых доктора за сегодняшний вечер можно считать уже не десятками – сотнями и даже тысячами.

– Мое имя – Эмиль Герши. Достаточно только передать...

– Хорошо, сэр, вашу визитную карточку, пожалуйста.

Я смутился.

– У меня ее нет, пока нет...

– Всего хорошего, сэр.

Развернулся ко мне затылком и зашагал прочь. Мне же ничего не оставалось, как смириться с неизбежностью – на арену не попасть.

Стоял я так четверть часа, полчаса. Стемнело, включились фонари, цветные вывески, украшенные лампочками, шныряли световые столбы от проезжающих мимо автомобилей – город в одно короткое мгновение от сгущающихся сумерек вдруг перешел к яркому пол-

дню, но искусственному, фальшивому, нарочитому. Солнце не успело закатиться за подвесной мост, как Нью-Йорк засверкал всеми цветами радуги. Толпа зашумела, некоторые разошлись в пользу более доступных заведений, но подошли другие. Представление вот-вот начнется, народ ни с крыльца, ни с тротуара уходить не спешил. Воздух трещал множеством бесед, раздающихся одновременно от множества группок, трещал от смеха, продолжали беспрестанно гудеть автомобильные клаксоны, издавывая нет-нет доносился колокол трамвая.

Вдруг швейцар, что отказал в просьбе, вернулся, локтями он расталкивал всех кругом, напустив на лицо сосредоточенно-напряженную мину, будто ему было поручено задание государственной важности и исходило оно из самого Белого дома.

– Мистер Герши? – спросил он и почтительно склонился, заложив за спину затянутую в белую перчатку руку. – Мистер Иноземцев примет вас в своей ложе. Разрешите вас проводить?

Оглушенный неожиданной удачей, я последовал за работником арены, миновал крыльцо, просторный холл, поднялся по лестнице, мои стопы тонули в алом ворсе ковровой дорожки. Всюду стояли люди. И на лестничных маршах, и в коридорах, и у дверей, и в нишах окон – каким же должен быть размер самого стадиона, чтобы каждый мог разместиться в нем?

Я оказался в темноте одной из лож.

Во всех остальных горел свет, портьеры подняты, люди шевелились, словно пчелы в сотах большого улья. Под ложами – ряды кресел по кругу, и ни одного свободного места.

Моя ложа была не освещена и зачем-то глухо задрапирована. Из ее темноты, в просвет узкой щели спущенных портьер замечательно просматривалась вся арена целиком и тройной ряд балконов по кругу. Я приблизил лицо к узкой полоске света и выглянул наружу. Под потолком висели тросы и канаты, наперекрест свисали веревочные лестницы, стальные флаги одноцветной серебристой гирляндой обрамляли потолок и шелестели, словно молодая листва. По центру – самый настоящий фонтан вздымал шумные струи едва ли не к самому потолку. Представление обещало быть самым что ни на есть цирковым.

Столько шума ради цирка.

Подумав так, я глянул направо. В ложе я восседал уже не один, а рядом с каким-то господином, который, неясно, пребывал ли в соседнем кресле до моего прихода, или же явился, пока я пялился по сторонам. Ведь было темно.

Наконец электричество на арене потухло, портьера, скрывавшая ложу, раздвоилась, разъехалась по сторонам, словно под воздействием незримого механизма, зажегся круглый проектор. Овальное золотое пятно скользнуло откуда-то сверху к фонтану и осветило его хрустальные струи. Из самого центра светового пятна вдруг появился человек в костюме времен Марии-Антуанетты: в парике и чулках и с бантами на туфлях – и стал что-то громко декламировать. На мгновение показалось, что это тот самый, что ввел меня в ложу. Но таких лакеев по Медисон-сквер-гарден сновало множество.

Дверь позади меня скрипнула, вошла дама, шепотом извинилась и села от меня по левую руку.

И я оказался между ней и сим таинственным господином.

Тот, к слову сказать, не сделал ни единого движения, чтобы поприветствовать вошедшую гостью, и на меня никакого внимания не обращал, продолжал сидеть, заложив ногу на ногу и скрестив руки на груди с какой-то нечеловеческой неподвижностью. Даже дыхания его не было слышно – точно неживая восковая фигура. Дама же оказалась более живой. Она обмахивалась веером и часто вздыхала, доставала платок, прикладывала его к глазам, поправляла ридикюль, полностью приковав все мое внимание к своей персоне. Позабыв о восковом господине, я глядел на нее безотрывно, вернее, на ее силуэт в темноте, отчего-то ощутив колыхание в сердце, будто эти вздохи и эти движения были знакомы.

– Что вы уставились на меня? – грозным шепотом наконец проронила она. – Глядите – вот Зои!

Я дернул головой, перевел взгляд на арену: оказалось, многое пропустил. Декорации сменились – внизу цвел самый настоящий сад со множеством деревьев. Зои в синем сари бродила меж стволами и прикосновением пальцев заставляла их цвести и тут же плодоносить. Видимо, секрет был в перекрестии цветных прожекторов, широких и узких, которые создавали эффект цветения. Это, верно, какая-то неведомая оптическая иллюзия. Или спрятанный от глаз зрителей механизм – следствие человеческого прогресса, как и быстроходный пароход, как электромобили и высокие дома, при одном взгляде на кои кажется, что они под воздействием ветра рухнут прямо на мостовые и деревья.

Заиграла торжественная музыка, арена на минуту погрузилась во мрак. А когда овальное пятно прожектора вновь зажглось, рядом с Зои стояла мужская фигура во фраке и цилиндре. Голова была точно так же опущена на грудь, как на афише. Фигура застыла на несколько секунд, точно поломанная марионетка, а потом резко вскинула голову, будто кто дернул за ниточку. К зрителям было обращено лицо, затянутое в белую, тряпичную маску с длинным клювом, какую носили средневековые медики во времена чумы.

Зал ахнул, заревел, некоторые потребовали, даже с угрозами, чтобы маска была снята. Но черный фрак поднял руку – безжизненным кукольным движением. В руке, затянутой перчаткой столь же белой, что и маска, сверкнула колба с дымящейся жидкостью.

И он плеснул эту жидкость в фонтан. Фонтан в мгновение ока застыл, скованный льдом, застыл в причудливых иглах, точно неведомый ошетинившийся зверь, точно хрустальный дикобраз. Зал прекратил рев, вновь ахнул и замолчал в ожидании. Зои присела к фонтану, она вскидывала руки, заламывала их, изображая стенания и порицая гостя, ее движения были полны отчаяния.

Она бросилась на колени, совершила несколько чудесных пассов руками, и фонтан снова ожил. Зал отозвался бурным рукоплесканием.

От золотого пятна луча прожектора отделилось второе пятно и заскользило по рядам лож, освещая зрителей. На мгновение свет почтил своим вниманием и меня. Я не преминул разглядеть свою соседку, которая на протяжении всего спектакля не переставала что-то сентиментально шептать, поднося к глазам платок. И чуть не повалился на неподвижного господина, сидящего справа, ибо на меня смотрело улыбающееся теплой, лучистой, ясной улыбкой лицо Элен Бюлов. Мягкие складки пролегали от носа к губам, у глаз собралась пара тонких морщинок, на лоб падали серебристые прядки от высокого шиньона.

– Поглядите, дорогой мой друг, Емельян Михайлович, – всхлипывая, проронила она по-русски, – как она чудесна!

Я вздрогнул от ее голоса, словно услышал его впервые, невольно вернулся взглядом к арене, где индийская принцесса с диадемой в черных волосах и в синем сари демонстрировала огненные узоры в воздухе, а злой, гадкий, противный фрак их тушил, распыскивая какой-то состав из пульверизатора. Что это? Как это? На сцене Элен Бюлов и здесь рядом, в кресле по левую руку, – тоже Элен Бюлов?

Свет прожектора, гулявший по лицам зрителей, скользнул к фигуре соседа справа. И я вновь отшатнулся – неподвижная, восковая фигура принадлежала Иноземцеву. Худое лицо его, обрамленное седой бородой, сильно постарело, взгляд через неизменные очки был направлен вдаль и куда-то сквозь пространство – он не следил за борьбой черного фрака и синего сари, он не взглянул ни на меня, ни на мадам Бюлов. Я не знаю, сдержал ли я вопль? Наверное, возглас недоумения все же сорвался с моих уст, но он потонул во всеобщем гуле рукоплесканий. Я был несказанно поражен.

А Иноземцев продолжал сидеть как статуя. И только когда луч сошел с лица и погрузил в темноту его неподвижную фигуру, я услышал шелест – доктор переложил ногу на ногу и поменял перекрестие рук.

Шумно выдохнув, я повернулся к сцене. Кто же тогда был этот – в белой маске с клювом?

А тем временем тот, кто должен был, по моему мнению и мнению всего зала, если верить афише, быть доктором Иноземцевым, стоял у стеклянного, неведомо откуда взявшегося лабораторного стола и колдовал над стеклянными лабиринтами узких перегонных колб, чаш и большого дистилляторного аппарата ошетилившегося разнообразием изогнутых трубок. Вскоре к потолку взмыло самое настоящее облако, такое же, какое спустилось ныне утром на пирс № 54, когда я сошел с трапа «Лузитании» – густое и белое, как клочок ваты. Облако стало чернеть и расти в размерах прямо на глазах, показались первые всполохи молнии, прогремел самый настоящий гром. Гром в Медисон-сквер-гарден! Раздалось визжание дам, сверкнула яркая молния и полил дождь. Дождь в Медисон-сквер-гарден! Мгновенно заливший арену и превративший его в озеро.

Озеро подобно настоящему морю стало волноваться, по поверхности его поплыли частые гребни. Внезапно под гребнями пенистых волн выглядывали спины неведомых рыб, их чешуя сверкала в свете прожекторов как рассыпь бриллиантов. Вынырнул и шлепнулся в пену волн настоящий сизобокый дельфин.

Я еще не отошел от смятения, ибо сидел между Элен Бюлов и доктором Иноземцевым, в то время как они должны были пребывать внизу, на арене, как сердце мое сжалось от неприятного, горького чувства. Я столько раз видел грозу. Нет ничего более страшного и завораживающего, чем грозы в горах, когда раскаты до того оглушающе, что кажется, скалы-гиганты рухнут, земля расколется и настанет конец всему существу. Но гроза под куполом цирка – это неслыханная дерзость, это вызов человека всемогущей Природе.

Вероятно, Зои тоже так считала. Я и не подозревал, кто такая была эта Зои с двумя темными косами и лицом Элен Бюлов, но она сложила руки ладонями у груди в приветственном жесте «намасте», опустилась в позу лотоса и замерла причудливой синей фигурой, словно сошедшей с фресок буддистского храма. Внезапно она, не выказав ни намека на движение, взмыла в воздух, продемонстрировав невозможную для строителей быстроходных лайнеров и тридцатипятиэтажных небоскребов левитацию, невозможную и для теософов и для тибетских хранителей гор, ни для святых, ни для отшельников.

Она взмыла в воздух, как дирижабль или самолет.

Я семнадцать лет провел в Тибете и его окрестностях, истоптал все Гималаи, но впервые видел человека в воздухе. Человек в черном фраке стал неспешно подниматься вверх по веревочной лестнице, потом добрался до своей ассистентки и на мгновение замер. Замер и зал. Вероятно, всем подумалось, что тот достанет ее, качнет, нарушит тонкие нити волшебства и низвергнет в пучину разбушевавшегося посреди арены вполне настоящего шторма. Откуда-то из-за кулис, сверху или с многочисленных дверей стали пробираться холодные порывы ветра, пахнущего солью и тиной.

Мнимый доктор протянул к Зои трость. Он стал водить под нею и над нею, может, в яростной попытке достать артистку, спихнуть с подкупольной высоты, а может, давая понять зрителям, что та не висит на тросах, ее искусство не фокус.

Спустившись, он склонил голову на грудь, свесил безжизненно руки, точно кукла, у которой внезапно кончился завод. И свет перестал его освещать, словно отвернулся от поверженного противника. Прожектор освещал только Зои. Та вдруг ожила, задвигалась, принявшись извиваться и творить разнообразные фигуры в воздухе, разгоняя руками тучи и являя чудеса удивительной змеиной гибкости. Она подлетала к зрителям, некоторых подхватывала и уносила с собой под купол, невзирая на протест и режущий слух вопль отчаяния, потом возвращала обратно.

Несколько секунд под потолком развевалось разноцветье юбок. Я надеялся, что это были другие циркачки, нарочно подсаженные к зрителям. Сложно представить, что испытывает простой смертный, вдруг оказавшийся на такой высоте, поддерживаемый лишь хрупкими руками пусть волшебницы, но ведь женщины. Надо обладать такой силой, чтобы удержать всех этих

дам, которых Зои с необъяснимой легкостью выдирали из удобных кресел. А может, Зои не была женщиной, ведь не была она и Элен Бюлов.

Зал дрожал от ахов и охов и непрекращающихся аплодисментов; время летело стремительно. Зои показала еще несколько чудес, которые отпечатались в моем сознании как картинки из яркой книжки, я не вполне понимал, в чем суть фокуса. Уже одно то, что бесстрашная девушка забралась на такую высоту и пролетала над ареной кверху ногами – было чудом. Я не заметил, как вода на арене исчезла, был постелен мягкий бархат, а посередине, зевая, уже восседал большой тигр. Зои принялась танцевать с ним забавный танец, похожий на вальс, при этом гигантских размеров зверь держал лапы на ее хрупких плечах, исполнила трюк со змеями, которые ползали не по земле, а по воздуху, словно по невидимому стеклянному столу, и уехала верхом на трех слонах, аккуратно в точности таких же, какие были изображены на афише. Слоны величаво протопали на арену, склонили перед ней свои украшенные золотой сетью хоботы. Зои легонько, словно ступала по воздуху, взобралась на спину одного из них, и вся удивительная компания исчезла за занавесом.

Свет в зале зажегся, представление окончилось, зрители стали подниматься с кресел, шумно обсуждая безукоризненную работу иллюзионистов. Были крики «На бис!», но артисты, как истинные чародеи, не вышли поклониться публике, исчезли, испарились, оставив после себя витать незримому облаку волшебства.

Я впал в наваждение, как ребенок, увлеченный невидалью, – слоны, тигры, змеи удивили немало. Но очнулся и тотчас бросил взгляд вправо – кресло, где сидел Иноземцев, пустовало. Обернулся к Элен, та осталась сидеть на месте и, сияя безмятежной, счастливой улыбкой, смотрела вниз на пустую арену.

– Кто бы мог подумать, Емельян Михайлович, какой успех! Теперь все будет иначе... Они будто одно целое, будто читали мысли друг друга... Через сколько нам пришлось пройти! Такие тернии!.. Чтобы добиться такого понимания.

Глава IV

За кулисами

– Как я рада вас видеть! – Голос мадам Бюлов был взволнован. – Это такой мощный шторм из прошлого! Где вы пропадали? В Китае? Индии? Я слышала, вы укатили в Бомбей. Вы так изменились! Это невероятно! Вас совсем не узнать – высокий, статный. Где ваши щеки? Вы были таким очаровательно кругленьким. А теперь же! От вас остались лишь ваши смешные барашки волос. И только легкая седина выдает возраст и морщинистый лоб. А в плечах столько силы! Ванечка был бы удивлен... До чего же я рада вас видеть!

– Взаимно, мадам, – проронил в ответ я. Я не знал, на чем остановить взгляд: на Элен, одетой в простое элегантное платье нежно-персикового цвета, с шиньоном чуть тронутых седой волос, собранных под вуалетку, глядевшей в своем наряде весьма необычно строго, или пустому креслу, где восседала прежде фигура Иноземцева.

– Месье доктор не пропускает представлений своей дочери, несмотря на... – Она запнулась, в глазах ее сверкнули слезы. – Я так рада вас видеть! – повторила Элен и коснулась глаз платком.

Я было открыл рот, чтобы учтиво ответить, но в сознание мое словно стрелой вонзилось это неожиданное: «своей дочери».

– Дочери? – едва ли не вскричал я.

– Да, а что тут такого? Зои – наша малышка, уже третий год исправно заменяет меня на выступлениях мадемуазель Габриелли. Ох, знаете, это так утомительно – переезды, гастроли, постоянный грим, напряжение... Она долго шла к триумфу, это была ее мечта – парить под куполом. Ей всегда нравился цирк. Семейный бизнес, так тут говорят. Забавно, не правда ли?

Я покраснел, улыбнулся, опустил голову, не зная, что и сказать.

– Конечно! Какой же я глупец, что не догадался сразу... – И снова покосился на пустое кресло справа.

Элен заметила этот многозначительный взгляд и немой вопрос, застывший в моих глазах, но промолчала. Вместо того чтобы удовлетворить любопытство старого знакомого, протянула руку.

– Идемте, Емельян Михайлович, мой хороший, я познакомлю вас с ними.

Ярко освещенные коридоры, ведущие в гримерные, были полны людей. Работники арены в ливрее времен Марии-Антуанетты, всюду снующие, выполняющие бесчисленное количество поручений, предпринимали недюжинные попытки увести толпу в холл. Толпа же напротив работникам Медисон-сквер-гарден пыталась пробиться к артистам. Атласные ленты, корзины с цветами, фигуры в пальто, фраках и объемные шляпки – все смешалось в единый многоцветный коловорот.

Наконец я оказался в тишине просторной комнаты, уставленной белой мебелью, две ее стены были сотворены из зеркал в золотых оправках. В углу – столик, заваленный красками для грима, палитрами, кисточками, пуховками, коробочками, шкатулочками, расческами разных размеров. За ним в белом пеньюаре и с сигаретой в зубах сидела девушка, поджав под себя ногу, и старательно отсоединяла черные косы от черных коротко стриженных собственных волос. Подле стояли три дамы и держали в нервных пальцах шпильки. На бесцветных от испуга лицах их было написано такое невероятное напряжение, будто их только что отчитал сам президент Соединенных Штатов.

Девушка осыпала дам отборной салунной руганью. Голос у нее был грубовато-сиплый.

Я застыл в недоумении, глядячи, как та, что была невесомой и воздушной феей Зои, дымя сигаретой, которую даже не потрудились заправить в дамский мундштук, бормотала ругань и нервно рвала черные пряди из прически.

Элен Бюлов тихо и величественно, как лебедь, прошелестела на середину гримерки, что-то шепнула перепуганным дамам, и те вышли.

И только тогда я обратил внимание на фигуру в черном фраке в противоположном углу. Черную неживую фигуру, словно застывшую в ожидании очередного завода. В одной руке фигура держала белую маску с клювом, в другой – цилиндр.

И фигура эта оказалась вовсе не доктором Иноземцевым, хотя отдаленное сходство имелось в манере держать спину, плечи и голову. Оба одного роста и сложения, оба черноволосы. Но черный фрак поднял лицо и бросил взгляд, полный старательно упрятанной в глубинах души обиды. Ему было не больше двадцати пяти. В смуглом, узком лице с плотно сжатыми губами застыло какое-то удивленно-отрешенное выражение. Быть может, из-за изгиба бровей, придававшего ему сходство с Пьеро, может, из-за широко распахнутых глаз. В чертах угадывались восточные нотки – острые скулы и треугольная линия подбородка. Парень мог сойти за индуса или перса.

Девушка злобно косилась на него, он отвечал не менее яростным взглядом.

По всему было видно, что три дамы здесь были совершенно ни при чем, они просто подвернулись под руку, меж девушкой и юношей во фраке явно пробежала черная кошка, а быть может, даже случился электрический разряд, искусственно сотворенная молния. За мгновение до того, как Элен Бюлов ввела меня в дверь, разыгралась ссора. Которая оборвалась внезапным появлением мадам Бюлов, вынужденной играть роль миротворицы.

– Что стряслось, Зои?

– Они хотели оставить меня вовсе без волос, старые курицы! И без того я похожа на тифозную с этой прической. – Отбросила накладную косу на столик и добавила так же сквозь сжатые зубы, ибо не желала расставаться со своей сигаретой. – Погляди на него!

Элен обернулась к юноше и тепло улыбнулась ему.

– Что вы опять не поделили? Ну? Совсем как дети. Емельян Михайлович, знакомьтесь, это Давид. Старший ребенок и наша гордость. Настоящий ученый! Сегодняшнее представление – его сценарий и исполнение.

– Исполнение, – передразнила ее девушка, с силой выдирая из себя клочок волос.

Юноша чуть наклонил голову и тотчас же ее выпрямил, нахмутив брови.

– А это – Зои, – продолжила Элен. – Младшая, страшная задира, вся в меня.

И с непринужденностью расхохоталась.

– А это – Давид, – снова передразнила ее черноволосая, оказавшаяся ужасно невоспитанной девушка. – Это – криворукий ублюдок, а не гордость.

И добавила по-русски, чего я ожидал меньше всего – и того, что услышу русскую речь, и то, что пойму ее, совершенно позабыв, что неплохо владел русским, прожив у господина Р. несколько месяцев.

– Ходячий справочник.

– Я могу идти? – не выдержал юноша. Оскорбление заставило его щеки моментально вспыхнуть недобрым румянцем. Кулаки с силой сжали маску и цилиндр, так что головной убор тотчас затрещал и сломался. Всем видом своим являл он немую, тщательно скрываемую и тщательно сдерживаемую ярость. Еще немного, и он бы накинулся на обидчицу, и спешил лишь затем покинуть комнату, чтобы не претворить в жизнь всем сердцем и душой желаемого.

Зои гипнотизировала его не менее ненавидящими глазами. И помедли он хоть мгновение, то сцепились бы оба, как кошка с собакой.

– погоди, Давид... – взмолилась мадам Бюлов. – Так скоро? Господин Гершин хорошо знал месье доктора. Тебе не было бы интересно познакомиться с ним ближе, побеседовать?..

– Благодарю. В другой раз, – отчеканил тот. – Я выполнил свое обещание. Я могу идти? Сложил изломанный цилиндр и маску на столике перед Зои и рванулся к двери.

Мадам Бюлов тяжело вздохнула, когда тот вышел.

– Ну зачем же ты так жестока?

Наконец Зои вынула изо рта сигарету.

– Все напрасно, мама, – заговорила она с торопливой резкостью, белея от негодования и выдыхая слова, как ледяные иглы, – ему не доставило ни малейшего удовольствия ни приготовления, ни само выступление, хотя мы, черт возьми, возлагали, большие надежды на то, что изменит свое мнение, когда услышит, как рукоплещет зал. Его это не тронуло. Завтра студенты бросятся разгадывать секрет заморозки фонтанов, но ему все равно! Зря мы повелись на его условия, написали на афише, что представление последнее и единственное. Он уцепился за это, теперь его нипочем не заставишь принять участие вновь.

С каждым произнесенным словом она отрывала прядку волос с головы. Это было странным зрелищем, составляющим странный контраст с грандиозностью и нежностью представления, демонстрированного ею менее часа назад, в котором воспевались Любовь, Жизнь, трепетное отношение к Природе.

– Он сказал так? – поспешно спросила мадам Бюлов.

– Он сказал: «Я не комедиант!» – бросила Зои. – Может, достанет с ним возиться, все равно что с малым дитем?

Зои была тоненькой девушкой невысокого роста, черноволосой, с чуть опущенными плечами. Издали ее можно было принять за мальчишку из-за несколько нервного и угловатого сложения. Она едва достигла совершеннолетия, но во взгляде ее и перекошенной в недовольстве линии крупного рта было больше брезгливости и яда, чем у иных дам почтенного возраста. Сходство с Элен Бюлов оказалось лишь работой грима. Подведенные веки, накладные ресницы, мягко очерченные губы – все это исчезло после умывания. Остались лишь черные глаза, принадлежавшие месье Иноземцеву, его же впалые щеки и недовольно перекошенное выражение лица, будто она только что лицезрела препарированную лягушку. От Элен Бюлов Зои взяла только аккуратный нос. Но если приглядеться, и тот был каким-то не таким: видимо, девушка успела его перебить. Может, в детстве упала с дерева, может, неудачное гимнастическое упражнение, а может, кто-то не стерпел обидных слов в свой адрес.

– Попроси кого-нибудь, пусть принесут виски, – пробурчала она.

– Зои! – воскликнула мадам Бюлов.

– Нет больше сил с ним возиться! Когда-нибудь я его убью, а сейчас – срочно мне бутылку.

– Зои! – с таким душещипательным материнским негодованием повторила Элен, так искренне всплеснула руками, что в сердце мое метнулось сомнение – была ли она вообще когда-нибудь той неуловимой Элен Бюлов, какой ее знали в девятнадцатом столетии, той невероятной, изобретательной, смелой и ничего не боящейся Элен Бюлов, которая могла одним забавным фокусом перевернуть жизнь множества людей с ног на голову?

Передо мной стояла мать, всем существом своим трепещущая в материнском порыве оградить дитя от капризного безумства. Ловкая и неуловимая Элен Бюлов осталась в прошлом веке, а в новый век ступила почтенная дама, радеющая за воспитание своих отпрысков. Радеющая и от души балующая. Одному Богу было видано, каких усилий стоило ей оставаться в этой роли успешной. Канатоходцу и то было проще удержаться под куполом цирка, чем матери, балансирующей меж непростым характером дочери и любовью к ней.

Мы покинули Медисон-сквер-гарден каким-то потайным манером. Всю дорогу Зои доказывала свое сумасбродство, а Элен Бюлов снисходительно и осторожно в нем участвовала. Не теряя самообладания ни на мгновение.

Спустя час я мчался на заднем сиденье ярко-красного четырехместного «Форда Модал Кей» – модели нынешнего года, выпущенной в начале осени и стоившей доктору Иноземцеву три тысячи долларов – подарок в честь дня рождения дочери.

За рулем сидела Зои, рядом – ее мать. Авто с ревущим бензиновым двигателем несло со скоростью, которая превосходила, наверное, и скорость парохода, и поездов, и даже всюду снующих зеленых такси. Оно трещало и стонало, спицы на колесах готовы были лопнуть в любую секунду. Зои то и дело резко сдавала то вправо, то влево, объезжая невидимые мне препятствия на дороге. Мы пересекли большой подвесной мост и уже всюду неслись через картофельные поля островной части Нью-Йорка, называемой Лонг-Айлендом, где еще царили невысокие виллы и сохранилась относительная загородная тишина. Вилла Иноземцева располагалась далеко на северо-востоке острова, едва ли не в самом его конце.

Обе без умолку что-то рассказывали, совершенно не обращая внимания на ветер, бьющий в лицо. За бортом голые деревья, кусты и панорама ночного океана мелькали с частотой картинок калейдоскопа, будто попавшего в лапы обезьяны. Я словно очутился в самом центре безумного лихорадочного сна. Оттого что беспрестанно в лицо бил морозный ветер, трудно было дышать. Верх кузова авто спустили – Зои изнывала от жары. От вездесущего аромата виски, что хвостом тянулся за юной артисткой, кружилась голова. Она по-прежнему держала в зубах сигарету, и рассказ ее прерывался бесконечным чертыханьем. Пепел попадал в лицо, залеплял очки и даже подпалил меховой воротник ее куртки.

«Форд», по словам девушки, мог разогнаться до сорока миль в час. Она сообщила это, принявшись за бутылку «Джек Дэниелс», зубами вынула пробку и прямо на ходу меж словами делала добрых пять-шесть глотков. Элен, полюбовно жуя, хваталась за руль, чтобы машину не унесло к обочине, или начинала хлопать перчатками по меховому воротнику Зои, чтобы затушить искры пепла от сигареты, свисавшей с уголка рта.

Тибетская закаленность моя рухнула, как карточный небоскреб.

Я стойко сносил отчаянное головокружение, стойко сдерживал подкатившую к горлу дурноту, но в конце концов не выдержал.

– Прошу вас, – взмолился я, – остановитесь хоть ненадолго. Я хотел бы отдышаться.

– Еще чуть-чуть, Эл, – проорала через плечо Зои. – Только не смей запачкать мой салон. Вон, видишь, серую каменную ограду? Это обитель дьявола – моего отца. Почти приехали.

И отвела акселератор далеко от себя, чуть его не сломав, сопровождая скоростной рывок звуками клаксона.

Она, не спрашивая разрешения, перешла со мной на «ты» и ко всему прочему дала прозвище. «Будешь Элом, – сказала. – Емельян Михайлович, как вас моя матушка зовет, – слишком долго выговаривать. Язык сломаешь. А Гершин – мне не нравится. В нашу скоростную эпоху не принято тратить время на длинные, труднопроизносимые слова».

И это было отчасти правдой. Я довольно сносно изъяснялся по-английски, но американскую речь понимал с трудом. Элен говорила привычно чисто, хотя нет-нет сокращала обычный английский, когда обращалась к дочери. Зои же полностью владела американским английским – отрывистым, резким и колючим.

Никогда я и мысли не допустил бы, даже в самых смелых и отчаянных фантазиях, что у месье Иноземцева, у этого чопорного, строгого, немногословного, держащегося всегда отчужденно, дочь вырастет настоящей уличной бандиткой. Даже свет некогда блиставшей мадемуазель Бюлов мерк в сравнении с дерзостью и развязностью Зои.

Я не видел, как подъехали к высокой – пяти или шести метров – серокаменной стене, как миновали ворота, аллею – тоже, ибо очень боялся, что испорчу красивое авто своей новой знакомой. Я зажимал рот рукой и глядел только себе под ноги. Разогнуться смог, лишь когда она заглушила мотор. Вывалился из нагретого до высоких температур автомобиля, поднял голову, увидев размашистое кирпичное строение.

Оно скорее походило на амбулаторию, чем на виллу. Нештукатуренное, лишь в два этажа. И ни единого зажженного окна – дом, видно, уже спал. И аллея тоже тонула в темноте, лишь верхушек сосен касался серебристый свет готовый выползти на небосвод луны. Цепляясь за чугунные перила, взобрался на крыльцо.

Свет в доме зажгли не сразу – некоторое время мы были вынуждены пребывать в полной темноте, нарушаемой смешками и едкими шуточками Зои и легкой трелью канареек, потревоженных шумом, – вероятно, где-то здесь была клетка с птицами. На ощупь, поддерживая друг друга, миновали несколько дверей, и я наконец ощутил под собой мягкий бархат дивана.

Когда лампы под потолком вспыхнули, постепенно разгораясь, первое, что увидел, – Зои. Она протянула мне стакан с едко пахнувшей маслянистой жижей. Я так отвык от любого вида выпивки, да и в дороге намучался препротивнейшим его запахом, что мгновенно отказался, но девушка схватила вдруг мою руку, так крепко сжала, что хрустнули суставы ее пальцев, вложила в нее стакан, другую опустила на затылок. Я сам не понял, как виски обожгло мои внутренности.

– Я понимаю, Элюшка, что у вас в Индии, или где ты там жил, не слишком распространен хороший бурбон – к примеру, я предпочитаю «Джим Бим» или бренди, но в этом доме лучше трезвым не быть. Поверь мне, друг, на слово.

Элен лишь развела руками и извиняюще улыбнулась.

– Зои, умоляю... – проронила она тихо.

– Вы... – с придыханием проронил я, – странная девушка...

Сквозь слезы я оглядел ее мужской наряд – темно-серый мужской костюм, воротничок расстегнут, галстука нет. Она стащила с себя куртку и швырнула ее на пол к ногам подлетевшей горничной.

– А отчего мне странной не быть? Знал бы, где я родилась, Эл, и где провела первые восемь лет своей жизни, – ответила она, хохоча. – Но в этом доме нельзя произносить этого страшного слова...

– Зои!

Девушка вдруг поменялась лицом и стала изображать заику.

– Бб-б... Бб-б... Ббю... – забормотала она. Потом, поймав взгляд матери, осеклась, неискренне потупившись. – Ладно, молчу. Все, видишь? Я заткнулась.

Элен улыбнулась, но взглядом успела дать понять, чтобы та держала свой острый язык за зубами. Хотя я ничего не понял. Видимо, имелись здесь какие-то семейные тайны.

Оказавшись во власти приятного тепла, я начал понемногу успокаиваться, вздохнул наконец полной грудью. На заднем сиденье «Форда» дыхание перехватило, и только сейчас отступил этот неприятный спазм в легких, возникший то ли оттого, что ветер беспрестанно бил в лицо, не давая сделать ни вдоха ни выдоха, то ли из страха разбиться, ибо качало хрупкий «фордик» из стороны в сторону, точно джонку в шторм. Откинулся на спинку кресла и украдкой огляделся.

Гостиная меcье Иноземцева выглядела эксцентрично, как выразились бы семнадцать лет назад. На окнах не было привычных штор, но я заметил у потолка нечто похожее на лебедки с пожелтевшим канатом, возможно, именно с их помощью опускались и поднимались жалюзи. Стены не украшены обоями, не имели никакой обивки – точно такой же голый кирпич, что и снаружи. Причудливо меблированная и просторная, со множеством фотографических картин на стенах, со всякого рода китайскими фигурками, фонариками и веерами, перемежавшимися восточными музыкальными инструментами, радужными сюзанами и какими-то механическими приспособлениями из шестеренок, ремней и деревянных планок, она вызывала чувство уюта и вовсе не отталкивала. В углу против окон стояла клетка с канарейками на подножке, опутанной проводами. На потолке не было люстр. Гостиная освещалась пузатыми лампами, свисавшими вниз, как дрессированные кобры. Единственно тонким нюансом была старинная мебель: мяг-

кая – обитая синим бархатом, массивные шкафы с изображением лилий и с ножками в виде львиных лап, высокие этажерки, украшенные пузатыми ангелочками, прижимающими к пухлым губам золотые горны. Весьма странное смешение стилей.

У доктора была многочисленная прислуга, одетая сплошь в черное. Никаких белых чепцов, рюш, только прямые линии – все, даже перчатки, – из черного матового материала. Чрезмерно суетливые и несколько нервные – верно, из опасения досадить нерасторопностью, они сновали туда-сюда будто черные призраки. Элен часто приходилось делать замечания, трепеща, они роняли дрожащим голосом: «Да, мэм, конечно, мэм».

По мере того как я приходил в себя, стали возвращаться прежние мысли, а вместе с ними и мучившие вопросы. Во-первых, где же сам месье доктор, почему он столь быстро ушел из ложи, почему не снизошел до беседы со старым приятелем? До сих пор держал на меня обиду?

Тут я вспомнил разговор в толпе у крыльца Медисон-сквер-гардена, мол, доктор уродлив и скрывает свое уродство под маской. Быть может, есть веская причина прятать свое лицо от людей, быть может, это какая-то причуда состоятельного господина, в которого теперь превратился русский доктор? Но Иноземцев не был похож на того, кто ради забавы мог навести вокруг себя столько таинственности, чего не скажешь о его супруге...

И взгляд мой невольно вернулся к Элен, натянувшей на себя маску радушной хозяйки. Я даже поежился и дернул плечами, представив сколь глубоко мое неведение в пространстве ее замыслов.

– Очень жаль, что месье Давид так быстро ушел. – Вместо мучившего вопроса озвучил другой, не менее интересующий, сам не понимая, отчего так путаются мысли, и отчего боюсь, что заподозрят в чрезмерной заинтересованности особой доктора.

– Наш Али-Баба – еще тот субчик, – процедила Зои.

– Месье доктор прожил некоторое время в Туркестане, – поспешила вставить Элен.

– В Туркестане! – удивленно воскликнул я. Хотел добавить вопрос, но опустил голову. – Понимаю... Понимаю.

– Давид – текинец, – продолжила мадам Бюлов, – из чудесной гористой местности Закаспия. И чрезвычайно умный парень. Он был самым младшим студентом Сорбонны за всю ее историю.

– Сорбонны! – вновь не сдержал я изумленного возгласа.

– Да, медицинский курс. И даже полгода преподавал хирургию. Мастер на все руки. Первую операцию провел, когда ему минуло пятнадцать – он только окончил первый курс, – продолжала Элен с бесконечной любовью и теплом. Но я сразу понял, что Давид не был ее сыном, хотя она и не делала разницы между ним и девушкой, не выпускающей сигареты изо рта, которая тем не менее унаследовала ее нос. Зои же, пока та говорила о приемном сыне, гипнотизировала мать ненавидящим взглядом. Казалось, юная артистка всем сердцем презирает сводного брата за то, что тот обладал большим количеством добродетельных черт, хоть и был, вероятно, рожден вне брака.

– Здесь, в Нью-Йорке, менее чем за два года Давид умудрился окончить курс физического факультета в Колумбийском университете. Ему позволили сдать экзамен экстерном, приняли докторскую, но оставили преподавать оптику. Хороших учителей в Америке днем с огнем не сыщешь. Давид работает с трансплантологией живых тканей и органов и занимается изготовлением стальных имплантатов. Продолжил дело отца.

– А что же сам доктор Иноземцев? – наконец осмелился я. – Бросил науку и больше не дает уроков?

– Теперь доктором Иноземцевым у нас значится Давид. Так величают его студенты. Подумать только – двадцать четвертый год, а уже дважды доктор. Сам же месье Иноземцев удалился на покой, посчитав, что воспитал замену себе и выполнил тем долг перед миром.

– Но ведь он посещает представления мадемуазель Зои...

– Идемте ужинать, Емельян Михайлович, – оборвала Элен, с бледным лицом поднявшись с кресла.

Зои проводила ее тяжелым взглядом: то ли ярость в ней закипала с большей силой, то ли уже порядочно опьянела. Она попыталась изобразить проворство и легкость, но покачнулась и едва успела подхватить меня под руку. В столовую она вошла, повиснув на моем локте.

Из двери гостиной сочился слабый свет, посреди стоял длинный стол. Приборы поставлены в весьма странном порядке. Четыре – у ближнего конца, и один – у самого дальнего. Зажгли электричество, и странный, словно уходящий в небытие ночи стол оказался во власти света. Света, приумноженного отражением. На каждой из стен располагалось несколько высоких зеркал. В гостиной тоже имелись зеркала, и расположение их в точности повторяло расположение в столовой: смотрящие друг на друга, четыре в метр-полтора шириной и высотой от пола до потолка, в оправе белоснежной лепнины и серебра.

Одновременно с Элен в противоположную дверь вошла китаянка в европейском платье и с пучком фиалок в седых, гладко причесанных волосах. Лет ей было не более сорока пяти.

– Добрый вечер, мисс Ли, рады вас видеть, – воскликнула Элен.

Дамы великосветски расцеловались.

– Очень жаль, что вы пропустили это невероятное событие, народу пришло в три или четыре раза больше, чем мог вместить Медисон-сквер-гарден. Зои была на высоте! Наконец-то, наконец-то это свершилось. Зои покорила Нью-Йорк. Настоящая Зои! И все благодаря вашим урокам.

– Это моя учительница гимнастики, – шепнула Зои на ухо, обдав меня таким тяжелым ароматом виски, что мгновенно я ощутил еще большее опьянение от вдыхаемого, чем от выпитого. – Я ее убью. Она ужасно, ужасно жестока. Я вырву ей глаза и заставлю съесть. Эл, она ужасна.

Громко икнув, подняла руку и прокричала так, словно находилась среди глухих.

– Привет, Юэнь! Как жизнь, моя старушка?

Китайку передернуло, она поджала губы и ничего не сказала. Отношения между юной артисткой и ее учительницей были не лучше, чем с Давидом. Видимо, девушка умудрялась досадить всем.

– Я ее убью, – зашипела Зои мне в ухо. – Попомните мои слова.

Она была уже изрядно пьяна и еле шла.

Уселись за стол. И еще не поднесли первых блюд, как явилась взволнованная горничная и передала Элен записку. Прочитав, та прикрыла веки и безнадежно вздохнула.

– Емельян Михайлович, – вкрадчиво произнесла она, положив ладонь поверх моей руки. И было в ее взгляде столько мольбы и сожаления, что я ощутил, как похолодело в груди. – Не пугайтесь, пожалуйста. Сейчас нужно потушить электричество. Наши приборы будут освещать свечи, их зажгут позже. Надеюсь, это нисколько не повлияет на ваш аппетит?

В залу вошли несколько черных теней – горничные, будто монахини. Одни принялись поспешно спускать жалюзи, другие прикрывали двери, третьи принесли свечи в искусно вырезанных из дерева на восточный манер канделябрах – все суетливо мелькали, перекладывая предметы с места на место, к чему-то готовясь.

– Что-то стряслось? – проронил я.

– Месье доктор почтит нас своим вниманием.

Зои захлопала в ладоши, поднялась из-за стола и принялась отвешивать направо и налево театральные поклоны: словно клоун приветствовал публику.

– Великий и ужасный доктор Иноземцев из страны Оз! – воскликнула она, подражая манерам конферансье растягивать гласные. – Представление продолжается, господа! Давайте наденем зеленые очки. Мистеру Страшиле нужны мозги, и мистер Великий и Ужасный...

– Зои, не паясничай, прошу, – взмолилась Элен, перебив ее. – Садись и помалкивай.

И только лицо китаянки осталось бесстрастным.

Глава V

Новый облик доктора Иноземцева

Свет потух, остался лишь слабый луч неполной луны – только взошедшей и светившей в окна сквозь частую рябь спущенных жалюзи. У стены слева появилась высокая, худая фигура, затянута в черный костюм. Сначала она задержалась на пороге, следом сделала два неуверенных осторожных шага. Я вдруг остро почувствовал страх человека, явившегося из темноты – притаившегося и жадно разглядывающего тех, кто восседал на другом конце стола. Будто то был потревоженный ночной хищник.

– Добрый вечер, – проронил он после длительной паузы, и отчего-то по-французски. Я был так поражен появлением Иноземцева, что не сразу придал значения голосу. Скрипучий, металлический, дребезжащий, как расшатанное в старой раме стекло. Услышав его, я невольно вздрогнул и не сразу осознал, что говорил человек.

– Здравствуй, Ванечка, – с волнением заговорила по-русски Элен. – Мы тебя ждали.

– Сегодня у нас гости из Франции, поэтому будем говорить по-французски, – отозвался тот. – Рад вас видеть, Герши.

Я раскрыл рот, но не смог вымолвить и слова, до того был во власти замешательства: ко мне обращался некто совершенно незнакомый, стыдливо прятанный в темном углу, и который, верно, считал себя месье Иноземцевым.

Но прошло уже семнадцать лет, доктор имел двоих взрослых детей, почему бы ему не обзавестись тайной, которая оправдывала его столь непонятное поведение. Любой имел право на причуды, право вести себя так, как ему заблагорассудится.

Видя, что я так и не ответил, голос продолжил. В тоне его звучала резкость.

– Давайте сразу расставим все точки над «i». Признаю, что сегодня я проявил малодушие, не смог заставить себя заговорить с вами, там в Медисон-сквер-гардене... Но, Герши, надеюсь, вы поймете меня, узнав, что... почти три года я не показывался никому в том виде... – Голос задрожал еще сильнее и запнулся.

Я молчал, весь обратившись в слух, пытаюсь понять, кто прятался на другом конце стола. Но незнакомец говорил, и я начинал узнавать привычные интонации голоса русского доктора, с которым был знаком.

– Люди науки часто рискуют здоровьем, – продолжал он, беспрестанно покашливая в кулак и теребя узел галстука, словно что-то мешало ему в горле. – Мой голос звучит отвратительно, знаю. Я еще не придумал, как усовершенствовать имплантаты в голосовых связках, чтобы звучание стало приемлемым для слуха. Я работаю над биосовместимостью. Свои родные голосовые связки я сжег, как и лицо, и большую часть кожных покровов. Эксперименты не всегда бывают удачны.

– Простите мое замешательство, – наконец я обрел дар речи. – Сочувствую... вам очень. Бесконечно рад, что вы тем не менее живы, и я могу говорить с вами.

– Да, я жив, – с каким-то внезапным ожесточением ответил Иноземцев. – Доктор Иноземцев жив. И будет... буду жить вечно. Над этим я тоже работаю.

– Ла-ла-ла, – тихо пробормотала Зои, а потом еще тише добавила: – Во ху шале тха. Бай-чи!

Я бросил взгляд из темноты угла, где прятался Иноземцев, на девушку. Зои сидела напротив. Последнюю фразу она произнесла вдруг по-китайски, а я ведь и позабыл, что хорошо знал этот язык, да и не одно наречие, ибо много времени проводил в китайских деревнях, порой тяжелым трудом зарабатывая себе на горстку вареного риса. Я знал юэ, путунхуа, лоло, мяо и лао, бывал на землях шанских и тайских племен, спускался к бирманцам, к области сюнну.

Зои сказала: «Я убью его. Идиот!» О ком же она это говорила? Неужели, о неблагодарное дитя, об отца так? Или все еще пребывала мыслями в беседах с Давидом, или же, пока говорил доктор, она успела перебраться парой реплик со своей китайской учительницей? Ведь сидели обе рядом, едва не касаясь локтями. Но мисс Ли не шелохнулась, восседала на краешке стула, точно проглотила шпагу, не участвовала в общем разговоре и на презрительное «бай-чи» не ответила.

– Перейдем к тебе, Зои, – внезапно прервал вихрь моих мыслей голос Иноземцева. – Прими поздравления. Твое сегодняшнее представление превзошло все ожидания.

Неожиданно лицо Зои осветила по-детски радостная улыбка.

– Правда? – Она сверкнула белоснежными зубами, глаза засияли, от хмеля не осталось и следа – будто маску сняла. И помыслить сложно, что губы девушки знают какой-либо иной изгиб, кроме презрительной усмешки. Верно, несмотря на слепую и безудержную злобу, она хранила в тайниках сердца и глубокое благоволение перед родителем.

– Я не смог сказать этого прежде. Но мне понравилось.

Иноземцев если и не видел, как загорелось лицо дочери в ответ на похвалу, если не видел сквозь толщину темной субстанции ночи эту внезапно засиявшую радость в ее глазах, то, вероятно, почувствовал, как оттаивает ее сердце. Тон доктора переменялся – он шел на мировую первым.

– Но где Давид? – добавил он. – Я не вижу Давида.

Повисла пауза. А через тянущуюся вечностью минуту воздух вдруг сотрясся громким и надрывным смехом Зои.

– Почему ты смеешься? Где Давид? – взволнованно и как-то нетвердо повторил доктор. Ему не ответили, девушка продолжала смеяться. Элен и китайская учительница сидели, не шелохнувшись, лунный свет освещал на их лицах напряженное недоумение.

– Спросишь еще раз, – хохотала Зои, – свалюсь под стол.

– Ульяна, вели зажечь свечи. Хочу видеть... Зои, замолчи же! – Наконец доктор сорвался на крик. Его вопль оборвался кашлем, смех Зои затих. Иноземцев схватил салфетку и долго не мог унять внезапный приступ. Видимо, кричать с имплантатами в голосовых связках было неприемлемо.

Элен подозвала горничную, и та принялась за спички. Тонкие лучинки не слушались и ломались в ее дрожащих пальцах. Прислуга в доме была запугана, будто бедные девушки находились в постоянном страхе сделать что-нибудь не так, оттого у них ничего не клеилось, все валилось из рук, и хозяйке приходилось их отчитывать. Хотя делала мадам Бюлов это мягко и нехотя. И сейчас просто взяла из рук прислуги коробок и тихо велела черной тени удалиться.

Спичка озарила лица сидящих: перекошенное презрительной усмешкой дочери Иноземцева, умиротворенно-спокойное – Элен и отрешенное – китайки.

– Только одну, – велел доктор требовательным шепотом. Элен тотчас же потушила огонек, которым пыталась засветить вторую свечу. Иноземцев выдержал паузу и так же шепотом продолжил: – Я бы попросил проявить немного уважения... в присутствии гостя.

– Не дожدهшься! – отрывисто бросила девушка. – Я в спектакле твоём участвовать не стану. Так Давиду и передай. Давай-ка поговорим о том, где он сейчас. А? Ну-ка! Не желаешь? Давидушка твой в гараже Уитни. Этот балбес пытается воскресить последний полусдохший электромобиль. А-а-а, не считая тех зеленых, которые еще называются «такси».

И, развернувшись ко мне, продолжила:

– Представь, Эл, весь мир использует бензиновые двигатели, а этот уродец безрукий полагает, что умнее всего мира и хочет кататься на электричестве. Тут лампочку засветить не все себе могут позволить. А он – кататься на электричестве!..

С другого конца стола раздалось нечто вроде рычания:

– Зои.

В эту секунду я подумал, не без улыбки, что имя девушки было самым повторяющимся словом за весь этот нескончаемый безумный день. Все тона и полутона недоумения, упрека и даже ужаса яркими искрами разлетались от уст окружающих ее людей, точно от наковален: «Зои, Зои, Зои!» Верно, она была сущим наказанием и немало крови попила не только у родителей, брата, но и учительницы. На лице Юэнь была отмечена одна мысль: «Скоро ужин кончится, и я смогу уйти, стоит лишь немного потерпеть, ведь за капризы взбалмошной девчонки платят неплохие деньги».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.